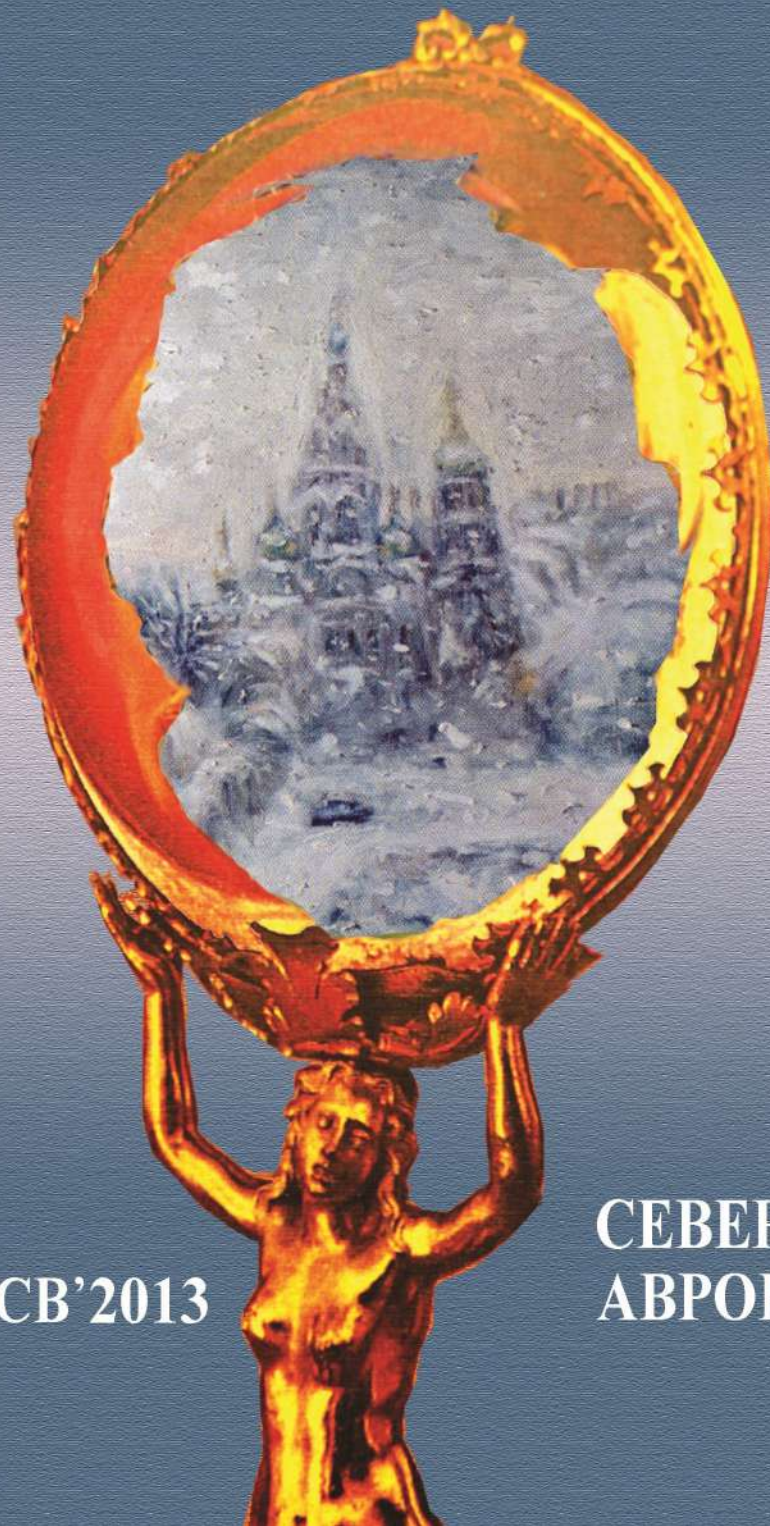




СЕВЕРНАЯ АВРОРА 19'2013

СВ'2013



СЕВЕРНАЯ  
АВРОРА

# СЕВЕРНАЯ АВРОРА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

№19'2013

Литературно-художественный журнал

## Содержание

<b>Майя Шварцман</b> (Бельгия). Ночной путь. <i>Стихи.</i>	<b>3</b>
<b>Евгений Орлов</b> (Латвия). Четыре комнаты. <i>Стихи.</i>	<b>13</b>
<b>Ирина Снова</b> (Эстония–Бельгия). Наступало Рождество. <i>Рассказ.</i>	<b>18</b>
<b>Инара Озерская</b> (Латвия). На ветру. <i>Стихи.</i>	<b>39</b>
<b>Николай Гуданец</b> (Латвия). Чужая звезда. <i>Стихи.</i>	<b>42</b>
<b>Инна Иохвидович</b> (Германия). Фотоувеличение. Тата. <i>Рассказы.</i>	<b>45</b>
<b>Евгения Ошуркова</b> (Латвия). «Чтобы пела я ангелам неба». <i>Стихи.</i>	<b>56</b>
<b>Владлен Дозорцев</b> (Латвия). К Сальери. <i>Поэма.</i>	<b>60</b>
<b>Валерий Петков</b> (Латвия). Самоубийца. <i>Рассказ.</i>	<b>69</b>
<b>Ирина Мастерман</b> (Литва). Магистр. <i>Стихи.</i>	<b>84</b>
<b>Юрий Касянич</b> (Латвия). Словарь. <i>Стихи.</i>	<b>89</b>
<b>Геннадий Михлин</b> (Финляндия). Северное побережье. <i>Стихи.</i>	<b>93</b>
<b>Евгений Зелло</b> (Латвия). История дубового стола. <i>Рассказ.</i>	<b>94</b>
<b>Мария Розенблит</b> (Эстония). История козы. <i>Рассказ.</i>	<b>101</b>
<b>Андрей Карпин</b> (Финляндия). Наантали. <i>Стихи.</i>	<b>108</b>
<b>Сергей Пичугин</b> (Латвия). Венецианский карнавал. <i>Стихи.</i>	<b>111</b>
<b>Руслан Соколов</b> (Латвия). Герои и мученики. Кот Бегемот. <i>Эссе.</i>	<b>113</b>
<i>Голос минувшего</i>	
<b>Геннадий Алексеев</b> (Санкт-Петербург). Рижский дождь. <i>Стихи.</i> (публикация А.М. Мирзаева)	<b>128</b>
<b>Людмила Яковлева</b> (Хельсинки). Мое литовское детство. <i>Воспоминания.</i>	<b>131</b>
<b>Лидия Друскина</b> (Тюбинген). Про болезненное. <i>Из записок.</i> (публикация А.Г. Щелкина)	<b>137</b>
<i>Новые переводы</i>	
<b>Роджер Макгаф.</b> «Но пришли вандалы...» <i>Стихи.</i> (перевод с английского Н.М. Голя)	<b>144</b>
<b>Беррис фон Мюнхгаузен.</b> Мать Мария. <i>Стихи.</i> (перевод с немецкого Е.В. Лукина).	<b>147</b>
<b>Доналдас Кайокас.</b> Sargisiozo. <i>Стихи.</i> (перевод с литовского Виталия Асовского)	<b>150</b>
<b>Аманда Айзпуриете.</b> «Если в мой дом заглянет Муза...» <i>Стихи.</i> (перевод с латышского Милены Макаровой)	<b>153</b>

*Рига — мировая столица русской поэзии*

**Светлана Чернышова** (Большой Камень, Россия), **Александр Ланин** (Франкфурт-на-Майне, Германия), **Елена Крюкова** (Н. Новгород, Россия), **Елена Фельдман** (Иваново, Россия), **Анастасия Лиене Приедниене** (Саулкрасты, Латвия), **Елена Кондратьева-Сальгеро** (Томри, Франция), **Михаил Юдовский** (Франкенталь, Германия), **Анастасия Винокурова** (Дрезден, Германия), **Татьяна Лернер** (Ремоним, Израиль), **Александр Рашковский** (Ставангер, Норвегия). **159**

*Из Петербурга — с любовью*

**Галина Илюхина.** Балтийский берег. *Стихи.* **175**  
**Нина Савушкина.** «В летнем Балтийском море...» *Стихи.* **180**  
**Валентина Лелина.** Дыханье дюны в вышине. *Стихи.* **185**  
**Татьяна Богина.** «А будет так...» *Стихи.* **188**  
**Анатолий Аграфенин.** Гнездо аиста. *Очерк.* **191**  
**Александр Фролов.** «На мгновенье жизнь мелькнет...» *Стихи.* **199**  
**Владимир Ханан.** Вильнюсская элегия. *Стихи.* **203**  
**Валерий Земских.** Рижский мираж. *Стихи.* **209**  
**Виктор Тихомиров.** «Осень рифмуется с проседью...» *Стихи.* **211**  
**Дмитрий Легеза.** Блондинка в дюнах. *Стихи.* **215**  
**Арсен Мирзаев.** Балтийский палиндротриптих. *Стихи.* **217**

*Северная почта*

**Владимир Шпаков.** «К веселой вышине...» *Рецензия.* **219**

## «СЕВЕРНАЯ АВРОРА»

В Санкт-Петербурге состоялся III Международный литературный конкурс «Любовь моя – Прибалтика». Это уникальный проект, которому нет аналога в России. Он реализуется совместно редакцией журнала и Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках «Программы Правительства Санкт-Петербурга по реализации государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом».

В данном специальном выпуске, подготовленном по результатам конкурса, представлены произведения наших соотечественников, живущих за пределами России. Среди авторов – талантливые литераторы русского зарубежья Майя Шварцман, Евгений Орлов, Владлен Дозорцев, Инна Иохвидович, Сергей Пичугин, Юрий Касянич. Впервые в конкурсе приняли участие и известные петербургские авторы – Галина Илюхина, Нина Савушкина, Валерий Земских, Александр Фролов и другие. В своих произведениях они стремились выразить самые теплые дружеские чувства к Прибалтике.

Презентации предыдущих специальных выпусков журнала в рамках этого проекта состоялись в Санкт-Петербурге, Вильнюсе и Риге. Причем в начале этого года Рига стала мировой столицей русской поэзии: здесь прошел всемирный поэтический турнир под эгидой журнала. Страницы специального выпуска украсили лучшие стихотворения участников из Германии, Бельгии, Франции, Норвегии, Латвии, Израиля, а также России. Ведь конечная цель нашего проекта – создание единого пространства дружбы между соотечественниками, сохранение связи с исторической Родиной, а также утверждение роли Санкт-Петербурга как культурного и интеллектуального центра России.

© «Северная Аврора». 2013 © Е.В. Лукин. Идея, составление. 2013 © Коллектив авторов. 2013 © В.И. Тихомиров. Иллюстрации. 2013 © Д.Б. Тимофеев. Дизайн. 2013.

## НОЧНОЙ ПУТЬ

Едешь с концерта полями на велосипеде —  
пар изо рта, за спиной не крылья, а скрипка.  
Там, где люцерна курчавилась, цвета комеди,  
ныне цвета ноября, земляная присыпка.

Как монолитна окраска осенних предместий —  
ржавчина почвы, дома с черепицей чепрачной...  
Листья ракатника цвета горчицы и жести  
авиапочтой летят на суглинок прозрачный.

Лужи под корочкой, неба ночного зевота,  
гланды луны и белесые пасмы в зените.  
То ли оборочкой туча легла, то ли кто-то  
мир с вышины пеленает в морозные нити,

то ли, всерьез утомившись, над Фландрией всеу  
пряжу во сне растрепали уставшие мойры,  
то ли мороз индевеющим дымом рисует  
Китежа свет, Атлантиду, мираж, Лукоморье.

Нет ни души, только холоду в поле не спится,  
дремлют коровы в коровниках, лошади в стойле.  
Обод шуршит, и мелькают колесные спицы.  
Путь зачарован, и странно, ты едешь — домой ли,

близко ли дом и попутный ли кружится ветер  
во в колесах, крутя тополей веретена?  
Только вопросы, а в небе никто не ответит,  
тропку кивком не укажет, клубка не уронит.

Этих минут колдовство только крик петушиный  
мог бы протестом взорвать, но по будкам дворовым  
носом клюют петухи, прижимаясь брюшиной  
к теплым насестам, и спят — не заступятся словом.

Флюгерный кочет, и тот наваждения шалость  
трусит прервать,  
                    беспольный скрипучий посредник...  
Все мы хлопочем, чтоб слово за нами осталось,  
но не узнаем, какое же станет последним.

\* \* \*

*Г.Ш.*

Рубенс, сказал ты, возник из фламандского неба...  
Здесь над землей и поныне клубятся, летят  
грации, нимфы, богини, вирсавии, гебы.  
Только взгляни в небеса — и увидишь стократ:

вон каледонские всадники ввысь поскакали,  
с фавнами девы сплелись в золотые клубки.  
Реют фигуры, в небесной паря пассакалье,  
вьются и движутся с ветром наперегонки.

Этих венер полнота, эти складки и пена  
тучного теста, обильный белок и мука  
сдобы телесной, податливых форм перемены,  
пышность, округлость, — что это, как не облака?

В лени безветрия медлят, не зная, застыть ли  
или растаять, внезапно решаясь взамен —  
жить! И вздымаются в небе объяться, соитья,  
рук перевивы, излучины бедер, колен.

Кисть колонковую, беличью кисть окуная  
в мягкую, вязкую тучу свинцовых белил,  
женские нежные тайны, наследие рая,  
Рубенс от плоти материи освободил.

Пыл поднебесных натурщиц представлен к награде  
запечатленья навеки, в усладу глазам:  
светится женственной плоти зефир в шоколаде  
темных багетов, в коробках узорчатых рам.

Зовом соблазна без тени стыда и порока  
сонмы красавиц заполнили весь небосвод.  
В роскоши неба, в летучем воздушном барокко  
Рубенс над Фландрией в облаке каждом живет.

\* \* \*

Не только богомазом, который всем в округе  
рисует позолотой светящиеся нимбы,  
не только дипломатом, чьи действия упруги,  
маневры неподсудны, а цели анонимны,  
приходит осень мягко, влетаясь терпеливо  
в янтарную токкату пшеницы и люцерны.  
Желтеют ноты зерен, и нету перерыва  
меж цепью репетиций и собственно концертом.  
Из летнего клавира лист за листом на землю  
слетает, отыгравшись и потеряв оттенок,  
и, в забвенье впадая, луга, рыжея, дремлют,  
и вянут, осыпаясь, календари на стенах.  
Придется переслушать длинноты нот белесых  
и остигато вьюги, и зимних песен темень,  
пока весне удастся бесплодный черствый посох  
растормошить, сподвигнув на волшебство цветенья.  
Еще не время снегу, еще нести колосьям  
аккорды долгих капель, пока зима как неслух  
не засвистит с галерки, — царит на сцене осень,  
и высится в полнеба орган дождей отвесных.  
На нем играет ветер, отбросив ливня фалды,  
утапливая в лужи педали инструмента,  
и набухают корни под кожей асфальта,  
как выпуклые вены у статуй чинквеченто.

\* \* \*

Приятно туристом бродить наугад,  
как палец блуждает страницами книжными,  
идти, попирая имбирь и мускат  
опавшей листвы на холодном булыжнике.

Держа на уме, как просфору во рту,  
возлюбленных строк стихотворные святцы,  
на Гиссельбергштрассе свернуть в темноту,  
но все еще медлить и не приближаться.

Согреться отсрочкой свечи за столом  
и чашкой «Высоцкого». Выйти из чайной  
и дрожью инстинкта найти этот дом —  
обитель тоски его мемориальной.

«Здесь жил...», разгораясь поэзией впрок,  
снимавший мансарду ли, комнаты угол,  
сожженный смятением и сам как ожог  
скуластый философ с губами как уголь.

Кто б знал этот адрес, кто читал бы теперь  
невидного дома карнизы и плитусы,  
когда бы отсюда, расплавивши дверь,  
не вырвался русский грохочущий синтаксис.

Не все ли равно нам, столетье спустя,  
была, не была ли у чаеоторговца  
на выданье дочка, — причины пустяк  
ушел в примечанья и лег как придется.

Сто лет миновало, как здесь пронеслась  
чума разоренья любви невзаимной,  
триумфом несчастья насытилась власть  
и вдребезги все разнесла в мезонине.

Под крышей вскипев, как под крышкой котла,  
сглотнула ступенек суставы артрозные  
и вынеслась вон, раскалясь добела,  
любовная, первая страсть студиозуса.

Любовь разрасталась и, расколыхав  
рыданьем гортань, поперхнулась приличьями  
и хлынула в город горячкой стиха,  
бруски мостовой превращая в горчичники.

Добротным декором его окружал  
квартал, досаждая своими услугами,  
тарачился оком совиным вокзал,  
ворочались лавки со снедью упругою.

Под теплой корицей коричневых крыш  
качался кондитерской вывески бретцель,  
процентные банки сулили барыш  
и высился корпус университетский.

От зноя бульвары свернулись в кольцо,  
а кирхи и кухни до ороговенья  
застыли под облачным душным чепцом  
в апатии средневековой мигрени.

На свет фонарей как на зов ночника  
бросались секунд бестолковых капустницы  
и падали вниз. Их глотала река  
толчками течения в гранитном напульснике.

Он шлепался до ночи. Как псы, допоздна  
калитки лениво засовами клацали  
на звук его бега. Болталась луна  
латунной медалью у неба на лацкане.

Все рухнуло топливом в глотку костра.  
Летела в огонь сантиментов безвкусица,  
лузга восклицаний, частиц кожура,  
пылали, треща, устаревшие суффиксы.

Все было им смято и уценено.  
Минувшее было захвачено смерчем и  
скручено в узел, и умерщвлено,  
и душу хлестало жгутом гуттаперчевым.



К утру миновал наваждения вихрь.  
В испарине звуков, очнувшись от приступа,  
он вынырнул из помрачений своих,  
собрал на пожарище угли — и выстоял.

Он взял этот город, затерянный средь  
других, словно крестик на вышивке фартука,  
и запер его в стихотворную клеть  
бесценным трофеем под именем «Марбурга».

\* \* \*

Не все ли нам равно, что покидать.  
Все лестницы — лишь выходы из дома.  
Попробуешь прийти сюда опять,  
но ключ не подойдет к замку дверному.

Забыв пароль, нет доступа в сезам,  
в отечества и отчества руины.  
Не все равно ль, по волчьим ли глазам,  
по звездам ли, по песне лебединой

гадал авгур, незрячий звездочет,  
предсказывая эти перемены,  
где зеркала расширенный зрачок  
не видит больше красоты Елены.

Уйди прозрачным шагом, налегке  
из западни, на комнату похожей,  
не вглядываясь, что там на крюке  
колышется от сквозняка в прихожей,

оставь ключи, кровать не застилай,  
пусть кран течет, пусть пыль летит к порогу...  
Когда домой вернется Менелай,  
он все поймет и скажет:

слава Богу.

Когда меня отчислят из живых,  
списав из единиц в разряды шлаков,  
я выпущу из рук погасший стих  
и лестницей, которую Иаков  
воображеньем сонным смастерил,  
взойду в края, каких не видно снизу,  
куда ведут ступени без перил  
и не нужны ни пропуски, ни визы.  
Я, запинаясь, поднимусь туда  
по вертикали судового трапа,  
не веря в окончательность суда, —  
как каторжник, который по этапу  
пускается, не веря ни клейму  
на лбу, ни в непреложность приговора,  
в уме все возгоняя сулему  
реванша за изъятие из фавора.  
Меня там встретит утомленный клерк,  
от должности малоподвижной тучный.  
Гостеприимства тусклый фейерверк  
изобразит, сипя одышкой, ключник,  
казенный посоветует маршрут,  
зевая на заезженных цитатах...  
(Не мне чета уже бывали тут  
в бытописателях и провожатых!)  
Я уроню, замусорив пейзаж,  
щепотки слов, обрывки эпитафий —  
последней эмиграции багаж —  
на белых облаков потертый кафель  
и, надпись «рай» увидев у ворот,  
всплесну руками, ахну и забуду  
зажать ладонью бездыханный рот:  
*Не может быть. Я только что оттуда.*

*Pro memoriam J.B.*

Все сложилось не так, как говорил  
заратустра русской словесности: в алебастре  
бумаги, в густом частоколе книг,  
набранных во времена чернил  
и офсетной печати... Осенний ястреб  
в небе, картавым горлом издавший крик,

сгинул, а в атмосфере ионы букв,  
с губ улетевших с дымом, вроде солохи,  
все еще держат выдоха суть, озон.  
Сердца давно разорвался надутый буф  
над рукавом артерий. Для прочих легких,  
лирикой живших, гибели птичьей звон

приступом отозвался. Удар, разрыв —  
путь тормозной зигзагом кардиограммы  
в лунной дорожке мечется на воде.  
Стих завершился выдохом, потеснив  
воздух, толкнулся эхом к живым в мембраны  
и по вертикали отвесно ушел к звезде.

Он превратился в праздношатающуюся мысль,  
звуком капнув с пера, хрустнув зерном графита,  
астмой паузника рваный вымостив путь,  
просто воздухом стал, слов выдохнув смысл,  
прежде, как сигаретам, им оборвав фильтры.  
И кто-то живой это должен вдохнуть.

Брызгами безотцовщины, сколько их растеклось,  
мелких дыханий, по кухням бруклинов, сохо,  
боннов, в чужую речь попавших как кур в оцип,  
сколько их за стаканов земную ось  
держится с дрожью, так и не осилив вдоха,  
превозмогая разреженности ушиб.

Что оказалось правдой? Вот разве то,  
что удлинение печали, стремясь к пределу,  
только раздвинуло пустоту, и вот  
жизнь оказалась длинной, и шапито  
неба донныне выдох земного тела —  
перья, зрачки, коготки, волоски — несет,

и все это, — хрип, литания, ругань, треск, —  
в воздухе утомительной пантомимой  
пляшет, сбившись, давно потеряв маршрут,  
а взять их назад отказывается наотрез  
голос — беззвучный, неуязвимый.  
...В сизых аортах каналов, лагун, запруд,

в реках наречий, текущих вбок или вспять,  
как говорят, молочных, а честно — мутных,  
там одичавшая речь ловится на блесну,  
на языка приманку. Правду сказать,  
век русской речи отсчитывается в минутах:  
кончившись, стихотворенье идет ко дну.

На берегах рыбаки стерегут улов:  
в водорослях элегий и песнопений,  
в судорогах волны, в косяках плотниц  
шарят шершавым бреднем, добычей слов  
значимых бредя, но ловят все больше феню,  
ил междометий, лузгу, чешую частиц.

Я не рыбачу. Стою, запрокинув лоб,  
в небо смотрю: там в вышине мелькают  
скобки, остатки перьев, кавычек дрожь,  
все еще вьющаяся поверх европ,  
пыльным столбом вращающаяся стая,  
невоскресимого мира родная ложь.

Мне повезло. Многоточий сквозных метель,  
выцветших до прозрачности глянца,  
кружится и у нас, словно обычный снег,  
превращая ландшафт на пару недель  
в частный сюжет, в пейзаж малых голландцев  
с образами коров, домиков и телег.

Поседевшая рябь, белая пестрота  
слов попадает в глаз, размывая фокус,  
соль страницу щеки переходит вброд.  
Дверь распахнув, как книгу, летит с листа  
младшее стихотворенье, мой лебединый опус,  
ясным воскресным утром санки свои берет.

Радуюсь холодам, пальцами снег лоя,  
щурясь, как будто с солнцем играя в жмурки,  
собственных чар не знающая сама,  
жизнь обогнать свою норовя,  
дочь выбегает на улицу в теплой куртке  
и кричит мне по-русски: «Зима, зима!».

---

***Майя Шварцман** родилась в Свердловске, окончила Уральскую государственную консерваторию имени Мусоргского. Автор сборника стихов «За окраиной слов», книги прозы «Георгий и Александра» и других. Лауреат ряда литературных премий. Живет в г. Дронген (Бельгия), работает в Симфоническом оркестре Фландрии.*

## ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ

### 1

все что остается после нас  
достаётся нашим воробьям:  
корочки творений — про запас  
крохи накоплений — на три дня  
да стены четыре: запад юг  
север и восточное панно  
на котором солнце — только круг  
вписанный Малевичем в окно...

### 2

а зря медведей он пририсовал  
и если уж чего-то не хватало  
так это лунных пятен на снегу  
и мысли незатейливой о том  
что человек — не главное в пейзаже  
тем более в обличии медведя...  
а было б в нем хоть капельку куинджи  
не стала б жизнь — оберткой от конфет  
лежащих у мальчишки под подушкой...

### 3

и ван был бог да и тебе пора  
отвлечься от пологого двора  
а что там кроме птиц кротов и кошек  
да черных прямо угольных окошек  
и отражений в оных серебра  
застывшего в безветрии с утра?

иное дело полный штить — в арли  
подсолнухом растущим из земли  
такая зыбь что местный почтальон  
как капитан идущий кораблем  
таит волны и молний морзе ключ  
а взгляд упруг и нежен как сургуч

вот женщина... мне кажется она  
не дождалась заветного письма  
и что? и зрели семечки в полях  
и сохло масло на ее бровях  
и вычернела глаз арлиных медь  
ну а письму желтеть еще желтеть

вот комната дарующая свет  
в ней никого тоскующего нет  
уже давно придвинут стул к окну  
и зеркало глядится в тишину  
той вечности когда от нас удрав  
здесь ван был бог... да и тебе пора б

### 4

слезливый мир  
где листья в сентябре  
рыдают как китайцы  
но — свободны...

бездарный мир  
где женщина в ночи  
стоит у входа в жалкую лачугу

объятая костлявыми руками  
подростка с венерическим лицом  
и притворяясь что меня не видит  
изображает из себя царицу  
хотя ее владельцу — грош цена

дешевый мир  
сошедший с полотна  
сусального бедняги левитана  
на плоскость многогранника дали  
дали дали дали дали дали...  
напичканный как торба чем попало:  
какими-то дурацкими вещами  
какими-то дурацкими делами  
и телефонным номером тоски —

мне кажется  
что это  
навсегда...

## **Начертательная география**

### **1**

любовь моя — не пишутся стихи  
хотя их автор жив и даже слишком  
безрадостно живет листает книжки  
о вечности и много водки пьет

любовь моя уже который год  
он замечает что пустеют строки  
как гнезда — видно выдохлись сороки  
и некому подбросить новый ход  
судьбы ему в ладонь  
а смерть — не в счет



любовь моя наверно не живет  
нигде теперь — ни здесь ни в аргентинах  
ни на луне и оттого вдвойне  
тоскливо автору —  
как лодкам на картине  
Моне

## 2

я прежде никогда не замечал  
дурного настроения у чаек  
но ты молчишь и оттого причал  
такое раздраженье излучает  
что птицы не выдерживают штить  
и с головой бросаются как в омут  
в тотальное предчувствие беды  
и роют дно — им как и мне знакомы  
зловещие повадки тишины  
ее вампирья сущность — подойти  
подкрасться с тыла будто все в порядке  
и незаметно губы поднести  
с секретным зубом...  
так стручок на грядке  
аж за версту услышит червячка  
и сердце разорвется — горсть горошин...  
я прежде никогда не замечал  
как тянет соки из растений осень  
как тянет птиц — на грунт меня — ко сну  
глухую красноперку — на блесну...

## 3

я мог забыть ту родинку? не мог  
а вот забыл и многое забылось  
но родина изгнанника — порог  
твоей будь трижды проклятой квартиры!  
повесь мой плащ на вешалку не стой  
в прихожей пограничницей расслабься  
та родинка... родная... над губой...  
каков был прежде повод целоваться  
каков был вкус коришневой зари

забыл не помню потерял растратил  
сотри ее — любимая — сотри

пока изгнанник памятью не спятил!  
скажи что прежде — не было! Зашей  
скажи что я ошибся дверью! Выткни  
в действительности многое страшней  
тех мамонтов что снились первобытным

#### 4

когда на «ау!» я уже ничего не отвечу  
(не вечен боец и у каждого свой аустерлиц)  
не стоит окно закрывать — утро выступит певчим  
а между сраженьями принято пестовать птиц

сокроется в облаке образ скворчонка в скворешне  
и чувства нащупают щастье в среде облаков  
и частью тебя станет вечность и наимудрейший  
прильнет неразумным причастием к слову любовь

стыкуются дни между ними зазор незаметен  
и прочен забор за которым ничто не узреть  
и вот выползает на свет отрицание смерти  
вполне обязательной рифмой к понятию смерть

---

*Евгений Орлов окончил филологический факультет Ленинградского университета, автор книги лирики «Грамматика слуха», лауреат ряда литературных конкурсов, в том числе конкурса Союза писателей Латвии и Посольства России в Латвии, член Союза журналистов Латвии. Родился и живет в Риге.*

## НАСТУПАЛО РОЖДЕСТВО

Первый раз она встречала Рождество без мужа в унижительной роли оставленной жены и в незавидном статусе матери-одиночки. От этого ей было не очень весело, и в голову лезли непривычные для такого особенного дня мысли. Главный же вопрос, который она задавала себе в предчувствии Рождества: «Когда же было лучше, с ним или без него?» И из ее истерзанной обидой души выросал ясный и, по сути, объективный ответ: «Одной гораздо лучше и намного спокойнее». При этом она с сожалением признавала, что новое материнство не добавило умиротворенности и женственной мягкости в ее незапятнанный образ отважной и честной журналистки, как это ожидалось. Уход неверного мужа сделал ее более суровой и категоричной, окунув не только в беспросветные бытовые заботы, но и в глубокий экономический кризис. Для того, чтобы выжить, пришлось в последние полгода научиться многим вещам, несвойственным ей прежде. Например, трудиться одновременно в трех местах, спать по четыре часа в сутки, не выполнять неоплачиваемую работу, талантливо и хитро сочинять пошлые рекламные статьи и занимать деньги у знакомых. Да, она больше не бежала сломя голову с диктофоном наперевес, заслышав первый крик о помощи, и не притаскивала в редакцию, как раньше, по шесть репортажей в день. Из обличительницы зла она превратилась в его банальную жертву, и поэтому наработанную годами безупречную профессиональную репутацию разменивала теперь на насущный хлеб. Впрочем, особенность ее положения заключалась в том, что она была брошенной, но не одинокой женщиной, а значит, утешала себя она, «все не так уж плохо, господа».

На полу возле пожелтевшего от времени кухонного шкафа перед ней лежали два еще не разобранных пакета с продуктами. А за окном в ранних серо-голубых сумерках медленно кружились громадные хлопья рождественского снега. Эта удивительная живая картина, обрамленная бледными тюлевыми занавесками, почему-то не скрашивала убогий интерьер обшарпанной кухни, а только больше указывала ей на ничтожность бытия и невозможность изменить жизнь к лучшему. Например, сделать нормальный ремонт, заменить кухонную мебель и технику, купить приличные подарки или новые шмотки себе и детям... Вместо всего этого ей приходилось относить почти все заработанные деньги адвокату, чтобы судиться с бывшим мужем, отстаивая право свое и детей проживать на складе подержанных вещей размером в тридцать два квадратных метра. Кроме этого она платила за лекарства, за коммунальные услуги, за образование старшего сына и за няню младшего. Совершенно бесплатно она могла лишь любоваться и радоваться этому восхитительному снегу, как чуду, как утешению за все земные горести. Только что, возвратившись из магазина, она принесла его с улицы на сапогах и теперь, заметив небольшую лужу на линолеуме, пожалела, что не разулась в прихожей. «Хотя какая разница, — подумала она, — где образуется лужа, в коридоре или на кухне? На кухне даже лучше, проще будет убрать». Она медленно поднялась с табурета, сходила в ванную за половой тряпкой, не наклоняясь, при помощи ноги, поводила ею по мокрому линолеуму и, не отрывая ступни от пола, проскользила на тряпке до прихожей, где наконец переобулась в тапочки.

Из детской комнаты раздавалось громкое визжание персонажей диснеевских мультиков вперемешку с нежным лопотанием младшего сына и отрывистыми выкриками старшего. Это означало, что у мальчиков все хорошо и нечего к ним соваться. Мельком она заглянула в полутемную гостиную, чтобы проверить, все ли гирлянды светятся на елке. Днем, когда старший, Максим, украшал рождественское дерево, две лампочки почему-то странно мигали. Убедившись, что с гирляндой все в порядке, она возвратилась в кухню.

Ей предстояло заняться праздничным столом, и для этого снова понадобилось на минуту присесть, чтобы собраться с мыслями. Меню она продумала заранее, согласуя вкусы детей и престарелой няни со скромными финансовыми возможностями. Строго следуя списку продуктов, в бюджет она уложились и все необходи-

мые ингредиенты только что притащила из гастронома. В большой эмалированной кастрюле возле плиты хорошо поднималось тесто. Яйца, картошку, морковь и рис для салатов и пирогов она тоже отварила заранее. Поэтому разумнее всего было сейчас же, не теряя времени, начать все это нарезать, перемешивать и заправлять. Она надела фартук, положила на стол разделочную доску и достала из шкафчика подходящий нож, как вдруг зазвонил телефон.

— Привет, Полина! — раздался в трубке знакомый ласковый голос. — Как вы там? С наступающим вас Рождеством.

— Спасибо, Римма, все хорошо.

— А как малыш? Я давно его не видела, соскучилась.

— Соскучилась? А чего не заходишь? Он уже разговаривает. Маленькими предложениями говорит. Но еще не пошел, все ползает. Приходи, посмотришь.

— Ой, Полина, так некогда было... У меня в ноябре был юбилей, я тебя не приглашала, ты все равно занята с ребенком. А потом я летала в Париж на две недели. И еще мне Арнольд машину новую подарил, ты ее видела?

— Я какую-то осенью видела, «Форд», кажется?

— Да что ты, это другая, он мне теперь «Опель» подарил, последнюю модель, у нее внутри целый компьютер. Не умею ничем этим пользоваться... И шубу еще купил норковую.

— У тебя же была шуба.

— Ты про какую говоришь?

— Про черную твою, трапецией...

— А эта новая коричневая, в пол, очень красивая, она стоит почти как машина, ты не видела?

— Когда же? Мы, наверное, три месяца не виделись...

— Да, я знаю, это нехорошо, я же Коленькина крестная и я очень люблю твоего малыша. Я сегодня к вам заеду с подарками, ждите.

— Хорошо, приезжай.

— Только я ненадолго, сегодня же праздник, Рождество — семейный праздник, но я все равно обязательно приеду. Пока.

— Пока.

— Ой, подожди, забыла спросить, твой не объявлялся?

— Нет.

— Сволочь! Ну ладно, пока.

В трубке раздались гудки. Полина отложила в сторону нож и снова опустилась на табуретку. Последние слова Риммы она ощутила как удар, от которого все, что она так долго укладывала и закапывала поглубже в память, вновь перетряхнулось в голове и вылезло наружу. «Почему и за что муж предпочел ей — приличной, интеллигентной, молодой еще женщине — жалкую шлюшку, нелегалку, дешевую продавщицу бананов с ближайшего рынка? Нет, не то, так нельзя думать, это некрасиво, это обычная бабья ревность, и вообще не в этой шалаве дело, хотя она, в общем-то, красивая деваха».

Чтобы заглушить в себе отвратительные мысли, она взглянула в окно и с удивлением заметила, что картина в раме удивительным образом видоизменилась. Сквозь нее уже не просвечивали силуэты угрюмых панельных домов, а лишь в самой глубине двора светился уличный фонарь, и вокруг него и повсюду, куда проникал взор, валом валил снег. «Господи, что на улице делается. Интересно, Колька это видит? Надо ему это чудо показать. Это же первый большой снегопад в его жизни». Ей захотелось немедленно принести сюда малыша, поставить его на подоконник и все-все рассказать ему о снеге, но она удержалась, чтобы не загубить окончательно предстоящий праздничный ужин. «Нельзя отвлекаться, — подумала она, — необходимо срочно покончить с салатами и освободить стол под тесто и пироги».

Принявшись за дело, она продолжала думать о маленьком сыне, который нравился ей безумно. Конечно, Максим был тоже очень симпатичным, но Николенька... Он оказался даже лучше, чем ее мечта. Он родился таким милым, спокойным и приятным ребенком, что не переставая радовал собой не только собственную мать, но и шестнадцатилетнего брата. И поэтому, невзирая на свой авантюрный возраст и невероятно активную манеру себя вести, Макс охотно оставался с братом, играл и занимался с ним. Он тоже воспринимал его как чудо и предпочитал общение с малышом всевозможным молодежным развлечениям. Их идиллические взаимоотношения никто не мог запланировать и предвидеть, как невозможно было предугадать, что Юхан предаст Николеньку почти в тот же день, как тот родится. В голове ее вновь ожили тяжелые воспоминания, и в душе заворочалась задремавшая было обида. «За что он его-то бросил? Почему об невинного младенца ноги вытер, забыл о нем, обрек на безотцовщину?» А всего лишь

год назад они вместе ждали появления на свет первого общего ребенка, которого Юхан выпрашивал у нее почти десять лет. В такой же рождественский вечер, на этой самой кухне она, неуклюжая и смешная, с круглым животом, заглядывала в духовку, проверяя, хорошо ли поджарились пироги, и муж был рядом, и страха перед жизнью не было и не было горечи в душе. Ну что ж, как сказала одна ее мудрая приятельница, произошла неравноценная замена: подлый предатель исчез, а новый замечательный человечек появился. Ну и хорошо, все в мире распределяется по справедливости: умным женам мужья машины и шубы дарят, а дурочкам прекрасных деток.

Оглядывая стол, на который полчаса назад она вывалила универсальный набор продуктов — сыр, колбасу, курицу, зеленый горошек, майонез и масло, она представила себе, какие изысканные яства и вина красуются сейчас на обеденном столе у Риммы. Неудивительно, у нее имелся собственный ресторан и собственный Арнольд, который этот ресторан ей тоже подарил. А начинала эта пара с такой же вот маленькой квартирке в спальном районе, не предполагая, что через пару лет на них обрушится небывалое богатство. В то время Римма была обычной стюардессой на внутренних авиалиниях, а Арнольд простым мастером на заводе. У нее за плечами был неудачный брак со старым шизофреником и сынок с непредсказуемой наследственностью, а у него благополучное хуторское отрочество на лоне природы в кругу дружной семьи и индустриальный техникум. Свое счастье Римма подцепила в самолете, когда Арнольд летел домой из командировки, а она виляла задницей в проходе пассажирского салона. «Стоп! — приказала себе Полина. — Нельзя так вульгарно высказываться о собственной подруге». Задница, между прочим, имелась и у нее самой, да и Юхана своего она тоже встретила не в библиотеке, а в самом обычном кабаке, куда ее нечаянно занесло после одного официального мероприятия. Так что не было ничего удивительного в том, что «горячие» северные парни то тут, то там клевали на ярких, темпераментных славянских разведенках.

А потом грянула свобода, новая экономическая реформа и возврат отчужденного перед Второй мировой войной имущества бывших собственников. Тогда отец Юхана получил обратно от государства четыре квадратных километра родового болота, а Арнольд оказался наследником и владельцем девяти огромных старинных жи-

лых домов в центре старого города. Вскорости, без излишней суеты и препятствий, он открыл собственное бюро недвижимости и начал богатеть день ото дня. Полноватый, благодушный, рассудительный и уравновешенный, он органично вошел в свое новое положение и, несмотря на молодые годы, с ходу превратился в солидного человека. Для того, чтобы стать богатым, ему не пришлось продавать душу дьяволу, идти на опасные махинации и якшаться с бандитами. Арнольд спокойно повел свои дела, продуманно инвестировал капиталы, и все потекло у него как по маслу. Чего никак нельзя было сказать о его непредсказуемой супруге. От внезапно свалившихся на нее денег Римма как будто ошалела. Ее начало буквально бросать во все стороны. Например, оттого, что она умела печь картофельные оладьи, Римме показалось, что в ней гибнет талант непревзойденного ресторатора. Арнольд предоставил любимой жене помещение в одном из своих домов, нанял персонал и обустроил там все по ее вкусу, но бизнес почему-то не пошел. Расположенный в прекрасном месте, в туристической зоне столицы, ресторан Риммы постоянно пустовал, становясь головной болью не только для нее и Арнольда, но в первую очередь для штата сотрудников. Именно на поваров, официантов и администраторов она вешала всех собак, обвиняя последних в нерасторопности, лени, воровстве и саботаже. Ее бесконечные истерики, претензии, проверки и подозрения заставляли поваров и официантов бежать от гневливой хозяйки куда подальше. Каждый месяц ей приходилось начинать почти все заново, доказывая себе, мужу и окружающим, что она все-таки бизнес-леди и все трудности вот-вот закончатся.

Параллельно Римма страстно увлеклась религией, тем более что на волне свободы и независимости стремление к духовному совершенствованию оказалось очень модным. Таким образом, она получила, как ей казалось, право всех поучать, воспитывать и благотворить. Теперь она регулярно по субботам в дорогих нарядах, но в скромненьком платочке на голове являлась в церковь, каялась там во всех грехах, щедро жертвовала на реставрацию храма и подавала нищим на паперти значительные денежные купюры. Этими благородными поступками она скоро снискала всенародную любовь батюшек и прихожан и прониклась искренним уважением к себе самой. Прослышав о том, что ее несчастная подруга надумала крестить двухмесячного Колю, Римма моментально предложила себя в крестные матери младенцу и, как



человек воцерковленный, с энтузиазмом приняла на себя роль организатора священного обряда. Тогда, в начале лета, Полина была еще слишком разбита горем и не представляла, что будет дальше с нею и детьми. Сидя на скамейке возле храма сразу после крестин, она от всего сердца просила Римму позаботиться о маленьком Коле в том случае, если останется без крыши над головой или с ней произойдет что-нибудь нехорошее, и новоявленная крестная мать обещала.

С тех пор Римма частенько названивала подруге, интересуясь, как она там загибается с ребятами. Утешала по-церковному: «Ничего Полина, потерпи. А как же ты думала? Из ямы надо выбираться долго». Пару раз она привозила обездоленное семейство подруги к себе в гости. В первый раз, чтобы выкупать ее несчастных заморышей в новой сауне с бассейном, которую Арнольд недавно соорудил между первым и третьим этажами. А в другой раз — чтобы продемонстрировать изумленным Полининым деткам домашний Диснейленд с аттракционами, машинками, мини-гольфом и игровыми автоматами. Это чудо Арнольд построил специально для сына Риммы, который никак не мог перерасти свой трудный возраст и поэтому бросил школу и неделями пропадал незнамо где. Чтобы приманить ребенка обратно в семью, по совету психолога, щедрому отчиму пришлось предоставить один этаж огромного дома под своего рода злачное место. Зато теперь мальчик мог не искать его на стороне, а получать все тридцать три удовольствия, включая дискотеку с казино, прямо под родительским кровом. Умно придумано, не правда ли?

Кроме того, Римма часто обращалась к Полине за консультацией, где и как лучше разместить рекламу. Однако, несмотря на то, что подруга очень нуждалась, неутомная хозяйка ресторана ни разу не сделала заказ непосредственно через нее. Римма считала неэтичным смешивать личные и деловые отношения и, как человек духовный, не могла позволить Полине зарабатывать на их светлой дружбе.

И вот теперь, когда Полина старательно месила тесто на кухне, поджидая дорогую гостью, телефон зазвонил снова.

— Прости, я задерживаюсь, звоню из магазина, везде столько народу, ты не представляешь!

— Почему же, представляю, сегодня праздник — самая распродажа.

— Нет, люди с ума посходили, скупают все подряд, и я с ними тоже.

— Здорово.

— Вы меня раньше чем через час не ждите. Надо еще заехать в пару мест, а все дороги снегом завалило.

— Ты смотри там, поосторожнее рули, не торопись.

— Как не торопись, мои же сейчас дома тоже меня ждут, за стол не садятся. Ты сама-то что сейчас делаешь?

— Пирожки пеку.

— Пирожки? А дети что делают?

— Играют, телевизор смотрят.

— А потом что будете делать?

— Позовем Евгению Матвеевну, посидим вместе.

— И все?

— А что еще?

— Да... Ну ладно, ты все равно не кисни. Я обязательно к тебе заеду. Пока.

Полина стерла ручным полотенцем муку с телефонной трубки, и в это время на кухню явились дети. Максим держал улыбающегося Николеньку на руках, а сам смотрел на мать голодными глазами.

— Что, есть хочешь?

— Конечно. Сколько можно ждать, мама?

— Знаешь, тут все время Римма звонит и меня отвлекает.

— А что ей надо?

— Ничего не надо, машину хочет новую показать. Я тебе сейчас бутерброд дам и курицу начну жарить. Она быстро готовится. Скоро уже сядем.

— Машину, говоришь? Лучше бы тетя Рима Кольке игрушку купила.

— Да она вроде грозилась, говорила, приедет с подарками. Только я думаю, она до нас сегодня не доедет. А игрушку мы сами Николеньке подарим. На, возьми бутерброд и неси Колю под елку, там для него сюрприз в большом свертке, а маленький не трогай, это для Евгении Матвеевны.

— А для меня?

— А для тебя... Принеси мою сумочку из прихожей.

Максим, как был с братом на руках и бутербродом во рту, пошел в коридор за сумкой. Потом внимательно следил за матерью, как та, уставившись в раскрытый кошелек, о чем-то думала и что-то подсчитывала в уме.

— Знаешь, я дам тебе сейчас четыреста, а на Новый год еще дам. Мне должны в газете перед праздником зарплату перечислить. Хорошо?

— Хорошо, только если денег мало, дай все вместе на Новый год, я с ребятами на дискотеку схожу.

— Нет, возьми сейчас, купи себе чего-нибудь завтра, а на дискотеку я отдельно дам. И уходите отсюда оба, не мешайте, а то я до ночи стол не соберу.

Дети ушли в гостиную и стали там копать под елкой. Из кухни ей было слышно, как засмеялся и что-то залопотал Николенка. Максим подыгрывал ему, демонстрируя рождественский сюрприз, и от этого у нее просветлело в душе и снова подумалось: «Как хорошо, что они живут так просто и дружно втроем и легко понимают друг друга». Ничего подобного никогда не было и не могло быть вместе с Юханом. Их совместная жизнь всегда протекала только по его правилам. От этого и она и Максим постоянно ощущали на себе неприятное давление. За годы полноценной и с виду благополучной семейной жизни Юхан сумел внушить жене и пасынку, что они все делают не так. А как правильно надо делать, знал лишь один он. Полина, уже наученная опытом первого неудачного брака, покорно смирилась со своей второстепенной ролью в семье, а Максиму было, правда, нелегко. Его подростковые страхи и сомнения прекратились только, когда Юхан ушел. Тогда впервые он почувствовал, что действительно кому-то нужен, нужен своему маленькому брату, нужен собственной матери, и у него расправились крылья. За одно лето Макс вырос сразу на пятнадцать сантиметров и осознал себя полноценным, умным и добрым человеком.

— Мама, — вдруг закричал Максим из комнаты, — а интересно, какие подарки тетя Римма нам привезет!

— Понятия не имею. Все зависит от того, какая вожжа попадет сегодня под ее новую норковую шубу.

Ужин был почти готов, оставалось только сервировать стол в гостиной и перенести туда все, что Бог послал к нынешнему странному рождественскому обеду. Странному хотя бы потому, что без Юхана

Рождество теряло свой сакральный смысл, так как в семье Полины практически не осталось протестантов. Это почетное место теоретически мог занять Коля, если бы папа не сбежал. Но судьба распорядилась иначе, и Николенька по не зависящим от него обстоятельствам был обращен в православие.

«Ну и хорошо, — снова утешила себя Полина, — что Бог ни делает, все к лучшему. А традиции из-за всяких там козлов мы ломать все равно не будем и отметим нынешнее Рождество как государствен- ный праздник. В конце концов, какая разница, в какой именно день Дева Мария родила маленького Иисуса? Николенька, к примеру, тоже родился на месяц раньше времени и получился вон каким миленьким, и все его любят, и все ему рады. И поэтому ему немедленно надо кашки сварить». Полина стала быстро кипятить молоко на газовой плите, опасаясь, что самый главный персонаж за рождествен- ским столом останется голодным. Со всем остальным она, кажется, управилась и громко отдала команду Максу раздвинуть складной журнальный столик в гостиной. Да, оставалось еще позвать Евгению Матвеевну и для этого к ней на второй этаж лучше всего будет тоже отправить Макса, хотя можно и по телефону...

Им очень повезло, что пожилая Николенькина няня жила в их подъезде этажом ниже. Она была заранее предупреждена о предстоящем банкете, и все-таки приличнее будет пригласить ее лично. Интеллигентной старушке, почти пятьдесят лет отрабо- тавшей фельдшером в больнице, разумеется, понравится, если за ней специально придут и пригласят. В еде Евгения Матвеевна была совсем непритязательна, но, исходя из собственных медицинских соображений, очень верила в чудодейственные свойства красно- го вина и при случае пила его много и жадно. Полина заметила это ее пристрастие и припасла исключительно для жизнелюби- вой старушки отличную бутылку красного. Максим же, в связи с бурным ростом молодого организма, легко умнет одну целую курицу и опустошит все салатницы. А Полине, как всегда, доста- нутся традиционные, приготовленные по рецепту мамы пирож- ки с капустой, с яблоками, с рисом и яйцами, которых она из года в год выпекала на праздники целую гору. Отправив Максима за няней, а сама принявшись кормить Николеньку кашей, Полина вновь услышала, как зазвонил телефон. Перебравшись с малы- шом и кашей обратно на кухню, она подняла трубку.

— Аллю! Это я! Я к вам не успеваю!

— Ничего страшного, Римма.

— Нет, ты не поняла, я не успеваю к вам подняться.

— А что же делать?

— Надо, чтобы ты спустилась ко мне вниз, я вам кое-что передам.

— Хорошо, Римма, я к тебе Максима отправлю. Я сейчас Колю кормлю, а Макс убежит...

— Нет, уж, моя дорогая, сама спустись, будь добра. Я к тебе два часа добиралась, и я хотела бы, чтобы ты на меня посмотрела...

— Ну, хорошо-хорошо. А ты сейчас где?

— Я к вам заворачиваю, так что выходи. И вот еще, возьми, пожалуйста, с собой пакет и нож длинный.

— Зачем длинный? Ты что там придумала?

— Сюрприз. Потом узнаешь.

Перспектива выходить сейчас на холод да еще с ножом вовсе не привлекала Полину. И Макс почему-то застрял у Евгении Матвеевны, наверное, та тоже что-то придумала или, по обыкновению, его заболтала. Один только Николенька спокойно посиживал на коленях матери и доверчиво открывал ротик, употребляя обыкновенную манную кашку. Наконец возвратился Максим.

— Макс, докорми, пожалуйста, Колю, а то там Римма приехала.

— А почему она не заходит?

— Говорит, некогда. На, возьми его. (Полина ловко пересаживала малыша к старшему брату.) А что ты так долго был у Евгении Матвеевны? — поинтересовалась она, натягивая в прихожей пальто и сапоги на босу ногу.

— Да она попросила на антресоли залезть, достать ей одеяло теплое. У нее страшно холодно. Она сама боится на табуретку вставать, говорит, голова кружится.

— Ну, ты помог?

— Да. Только я не понял, что у нее, не топят, что ли?

— Топят. Просто она постоянно квартиру проветривает, как в больнице. Привычка у нее такая профессиональная, все балконы и форточки пооткрывает, холоду напустит, а потом сама мерзнет.

Полина снова вбежала в кухню, выдвинула ящик стола и достала оттуда самый длинный свой нож, которым никогда не пользовалась.

— Мама, а зачем ты нож берешь?

— В целях самообороны. (Макс выпучил на мать глаза.) Да, нет, тетя Римма велела.

— Как интересно... Что же это она нам привезла?

— Не знаю. А где же Евгения Матвеевна?

— Она сказала, что придет минут через двадцать. Ей сын должен позвонить в девять часов из Киева.

— А... Ну хорошо, я скоро.

Полина поставила замок на предохранитель и побежала вниз по лестнице. На улице у подъезда с зажженными фарами стояла, припорошенная снегом, новенькая серебристая машина, в которой, поджидая подругу, преспокойно восседала задумчивая Римма. Когда Полина осторожно постучалась пальцами в боковое стекло, та, как бы очнувшись, медленно вылезла из автомобиля и предстала перед подругой во всей красе. При виде роскошного боярского одеяния Риммы у Полины под тоненьким пальто еще больше задрожали голые коленки. А Римма тем временем выдерживала паузу, улыбалась во весь свой белозубый отбеленный рот, демонстрируя съезжившейся от мороза подруге истинно рождественскую радость от долгожданной встречи. Ее распахнутая новая шуба казалась почти бескрайней и чуть ли не стелилась вокруг нее по пушистому снегу, переливаясь и искрясь при каждом движении хозяйки. Невозможно было не отметить, что этот шикарный мех привносил много благородства в цыганскую внешность Риммы.

— Ну, как я тебе?

— Обалдеть!

— А машинка?

— Супер! Давно ждешь?

— Ерунда, минут десять.

— А у меня Макс бегал к няне, помогал ей там чего-то, извини.

Рим, а зачем нож-то нужен?

— Да, совсем забыла. У меня тут продукты, я хотела для тебя кое-что отрезать.

Римма подвела Полину к багажнику и подняла заснеженную крышку. Посмотрев внутрь, Полина почему-то сразу вспомнила великолепные картины фламандских мастеров. Правда, весь этот продовольственный натюрморт был свален в кучу, но ассортимент ни в чем не уступал европейской роскоши семнадцатого века и был не менее живописен. Здесь лежали виноград и зелень, несколько арбузов и ананасов вперемешку с копченой форелью, окороком, колбасами и свежими овощами.

Отовсюду торчали бутылки французских вин, сыры и банки с необыкновенными консервами. Из ледяного мешка выглядывали устрицы, а сверху, сквозь прозрачную коробку, хорошо просматривался изысканный шоколадный торт с золотистой надписью на табличке. Полина молча озидала весь этот гастрономический шик, невольно отмечая, что никогда ничего подобного не могла позволить себе купить. Она давно научилась обходить стороной прилавки с деликатесными продуктами и выискивала в супермаркетах только то, что попроще и подешевле. При этом она прекрасно представляла себе, как было бы неплохо сожрать с детками на Новый год такой вот мексиканский арбуз. Но, как говорится, кесарю кесарево, а слесарю слесарево.

Однако к ночи мороз усиливался и кое-как одетой Полине становилось невыносимо просто так стоять на снегу и пялиться в чужой багажник.

— Надо же, как много всего, — сказала она, — ты это для ресторана купила?

— Нет. Все для бедных, — строго и очень серьезно произнесла Римма, — ты не представляешь, сколько в городе бедных людей, которые по-настоящему нуждаются.

— Я-то как раз представляю... Они мне с утра до ночи на работу звонят, и каждый жалуется кто на что...

— Тем более ты должна понимать, что ты не одна несчастная, и я должна успеть еще многим помочь.

— Правильно, Римма, помогай, а я замерзла, я пойду.

Полина постаралась улыбнуться и кивнуть на прощание сердобольной подруге как можно дружелюбнее, но, по-видимому, у нее это плохо получилось, потому что Римма, заподозрив что-то, торпливо заговорила совсем о другом.

— Видишь ли, Полина, мы с тобой люди православные, а сегодня Рождество католическое. А у православных сейчас Великий пост. Нам с тобой вообще ничего этого есть нельзя. А Николенька, он хоть и мой крестник, но тоже эти продукты есть не может, потому что еще маленький...

— Римма, остановись, пожалуйста, при чем здесь твои продукты? Ты хотела, чтобы я спустилась на тебя посмотреть, я пришла, посмотрела. А теперь мне надо домой, меня дети ждут и мне холодно.

— Нет, подожди, дай пакет, — Рима выхватила из рук Полины пакет, в котором лежал дурацкий нож, — я не хочу, чтобы ты с пустыми руками ушла.

Она резко наклонилась к багажнику, просунула в него голову, так что снаружи осталась только ее норковая шуба, и стала копать-ся внутри, как зверек передними лапами. Вскоре из левого верхнего угла багажника стал доноситься ее радостный голос.

— У тебя дома-то хоть картошка-то есть?

— Сейчас нет, потому что я всю ее сварила, но завтра я новую куплю.

— Зачем покупать, я тебе сейчас дам, а ты Николеньке пюре сваришь. И вот еще у меня тут лук есть, всегда в хозяйстве пригодится. И вот еще консервы, две банки... А теперь, — Римма вылезла наружу и выкатила на поверхность огромный, килограмма на три, кусок кружкой ветчины, — я тебе отрежу немного.

Держа в руках длинный нож, Римма начала примеряться, сколько же ветчины можно подарить Полининому семейству. Поначалу она прицелилась примерно грамм на триста, но потом поняла, что погорячилась. Она передвинула нож поближе к краю и снова замерла в раздумьях. Затем она еще больше урезала пайку, сведя ее до толщины примерно одного сантиметра. Потом почему-то решила, что этого куска будет маловато, и снова застыла, не понимая, в какую сторону разумнее всего подвинуть нож. Полине надоело смотреть на благотворительные мучения подруги, и она отвернулась от машины. Ей страшно захотелось немедленно, не говоря ни слова, забежать в свой подъезд и оставить Римму наедине с ее сомнениями, луком и ветчиной, как вдруг случайно она заметила, что сверху на нее из окна смотрят дети. Оба мальчика были хорошо видны на фоне освещенной кухни. Маленький Коля стоял на подоконнике, а сзади его поддерживал старший Максим, и они оба улыбались. В ответ она замахала им руками, и Коля засмеялся. Полине сразу стало весело, и ей пришлось в голову скатать для него снежный ком и притащить его домой, чтобы малыш смог потрогать первый снег. Пока она собирала снег возле машины, аттракцион филантропии наконец завершился ударом захлопнувшегося багажника.

— Все. Больше, к сожалению, ничего дать не могу, — усталым голосом подытожила Римма, возвращая подруге полупустой пакет. — А нож у тебя очень хороший, немецкий Золинген, откуда у тебя такой?



— С выставки, недавно подарили комплект, я оттуда репортаж делала. Только этим ножом я не пользуюсь, слишком большой.

— Послушай, отдай его мне, в ресторане пригодится.

— Да бери ради Бога.

У Полины снова посветлело в душе и невольной возникшая неприязнь к подруге куда-то улетучилась. Из окна третьего этажа на нее смотрели дети, и она ощущала нерушимую с ними связь, а все остальное не имело никакого значения. Римма тоже посмотрела наверх и вяло помахала рукой крестнику.

— Ну вот, и ты увидела нашего лапушку. А теперь я побегу, не то околею, — Полина наклонилась и подняла с заснеженного тротуара свой ком.

— А это тебе зачем?

— Кольке показать.

— А... — грустно выдохнула Римма.

Только теперь Полина заметила, что с подругой что-то происходит, от прежнего восторга и гордости за саму себя не осталось и следа. Перед ней стояла обычная сорокалетняя, усталая, замороченная женщина, правда, в норковой шубе.

— Римма, а почему ты домой не спешишь?

— А дома у меня никого нет.

— Откуда ты знаешь?

— Мне час назад из ресторана позвонили и сказали, что вечером Арнольд поужинал, выпил и ушел в публичный дом.

— В какой еще публичный дом?

— А у нас напротив открылся новый бордель, и муж мой туда повадился ходить.

— А ты? Ты ему позволяешь?

— Тебе этого не понять...

— Мне? Почему «не понять», я же с Юханом развожусь, потому что он мне изменил? И ты сама меня поддерживаешь в этом решении...

— Да кто такой твой Юхан — нищий кобель?! А Арнольд — богатый мужик. И посещение публичных домов для обеспеченных мужчин — нормальное дело, вот так, моя дорогая. Это совсем другой мир и другое поведение... И жены богатых людей не ревнуют мужей к проституткам. Вот... И весь мир так живет...

— Надо же, я и не знала. А тебя, Римма, что, в церкви всем этим премудростям научили?

— Знаешь что, не издевайся. Я бы не рассказала, если бы мне было реально по фигу...

— Прости, пожалуйста.

Полина пожалела, что брякнула про церковь. Просто в первую минуту ее завело то, что воцерковленная подруга постоянно проповедовала ей христианские принципы морали, а сама жила по правилу «богачам закон не писан». Хотя в принятии решения развестись с мужем главную роль сыграло, разумеется, не мнение Риммы, а приказ совсем другого человека — ее духовника, отца Владимира. Именно к нему, доброму и кроткому священнику, в прошлой мирской жизни художнику и хиппи, зареванная Полина понеслась как угорелая по грязным апрельским лужам после ужасной ночи, проведенной без сна. В слезах она рассказала ему на исповеди, как вечером Юхан привел в дом новую пассию, заперся с нею в комнате и устроил настоящую любовную оргию, да такую, что взрослый Максим все расслышал и понял. Рассказала, что у нее, еще не восстановившейся до конца после родов, от позора и унижения теперь горит молоко в груди и ходуном трясется тело, так что она боится взять двухнедельного Николеньку на руки... Тогда отец Владимир, которого никто из прихожан до тех пор не видел в гневе, заорал на весь храм: «Гнать! Гнать, как бешеных собак!» Полина оторопела, испугалась и уже шепотом залепетала: «Как же, батюшка, он ведь ребенку отец, мне же придется уже второго мальчика одной поднимать, я не смогу, я не справлюсь, батюшка, на что жить?» Отец Владимир посмотрел ей с самые глаза и строго, ясно произнес: «Если Господь дал тебе сына, то подаст и на сына. Поняла? Ступай с Богом». И Полина поверила и сразу поняла, что ей нужно делать.

С тех пор прошли месяцы и дни. За домашней суматохой боль от нанесенного мужем жестокого оскорбления немного поутихла. Однако после неожиданного признания Риммы горечь собственной обиды плавно перетекла в ее душе в чашу искреннего женского сострадания. Полине захотелось пожалеть ее, сказать что-нибудь правдивое и правильное, необходимое в подобных случаях, но она не решилась выразить свое участие в словах, а только ласково дотронулась до руки подруги и погладила ее бесподобную норковую шубу. От этого прикосновения Римма почему-то вся передернулась.

— Да ладно... — отдернула она руку, — Арнольд — это ерунда...  
У меня с Филиппом беда...

На глазах у Риммы появились слезы.

— Что случилось? Заболел? Что, не слушается? Не учится?

— Да нет, у нас похлеще будет, здесь, кажется, наркотики...

— Господи, спаси и помилуй! — охнула Полина.

Ей стало больно смотреть на подругу, которая с усилием сдерживалась, чтобы не зарыдать. Ее несколько минут назад сияющее, идеально подкрашенное лицо вмиг исказилось и покрылось белыми пятнами.

— Не надо, Римма, не надо плакать. Пойдем к нам. Закрой эту чертову машину и пойдем ко мне, выпьем, поговорим. Что-нибудь придумаем... Успокойсья, поешь. У меня пирожки получились в этот раз отличные. С Колькой поиграешь, порадуешься... Пошли?

— Нет, не пойду, — гнусаво произнесла Римма, вытирая платочком мокрые глаза и нос, с усилием возвращаясь в себя. — Надо в ресторан ехать. Эти сволочи, представляешь, из двадцати столов только шесть продали. И это в рождественский вечер! Ни черта не зарезервировано! Ну, я им сейчас покажу, я приеду и на них шубу выверну! Никто не хочет работать, а зарплату получать все хотят... Поеду. Ой, уже полдесятого, — Римма заторопилась к машине и, распахивая дверцу, прокричала, — и ты беги домой, что стоишь, вся сияняя уже! Пока!

Серебристый «Опель» заревел и резко соскочил с места. Окоченевшая Полина стояла не двигаясь, следя взглядом за тем, как автомобиль Риммы, разворачиваясь, описал круг возле мусорных баков и, вырулив на дорожку между домов, стал удаляться вдоль тротуара. Только после того, как машина завернула за угол, Полина вышла из оцепенения и почувствовала вдруг, что если еще одну секунду простоят на морозе, то точно помрет. Она сорвалась с места и буквально впрыгнула в подъезд. Торопливо поднимаясь по лестнице, она почувствовала, что ее правая рука буквально примерзла к снежному комку. Хорошо, подумала она, что входная дверь осталась открытой, не то бы она замучилась с ключом. Очутившись в теплой прихожей, Полина с порога завопила Максусу:

— Сынок! Беги ко мне скорей, заведи у меня все!

Возбужденный любопытством Максим моментально явился и сразу ухватился за пакет, который показался ему чересчур легким.

— Колька что делает?

— В манеже сидит с новой игрушкой. А что тут в мешке лежит, я не понял?...

— Я тоже. Ты у меня снег забери и брось его в мойку, не то рука отморозится.

— Mam, ты что, обалдела, снег с улицы таскаешь, его же на балконе навалом.

— Ой, сынок, правда... Что это со мной? Старею, начинаю плохо соображать.

Пока Макс возился на кухне, она попыталась онемевшими пальцами расстегнуть сапоги, но у нее ничего не получалось. Поэтому ей пришлось снова протопать в обуви на кухню, где она застала старшего сына склонившимся над столом в недоуменной позе. Перед ним лежало содержимое долгожданного пакета, которое он удивленно рассматривал.

— Что это, мама?

— Подарок тети Риммы нам к Рождеству.

— Ты шутишь, мам?

— Какие могут быть шутки? — Полина устало села на табуретку. — Ты историю про ослика Иа помнишь? Вот это он и есть — наш рождественский подарок.

Теперь они оба молча посмотрели на середину кухонного стола, где, сваленные в кучку, лежали пять средней величины картофелин, три большие головки репчатого лука, две консервные банки кильки в томате — любимой закуски советских алкашей, и несколько миллиметров круглой ветчины, завернутые в обрывок полиэтиленового пакета. Они еще помолчали, после чего Максим тихо произнес:

— По-моему, тетя Римма сошла с ума.

— К сожалению, не одна она.

— А кто еще?

— Иногда мне кажется, что весь мир с ума сошел.

— Нет, ты посмотри, за кого она нас принимает? Она же Колькина крестная! Она что, забыла, сколько ты бесплатно писала про ее поганый ресторан? Да она же богачка, она нищим на паперти больше подает. Получается, что мы для нее хуже нищих?

— В каком-то смысле, наверное, «хуже». Хотя, по большому счету, это не так уж и плохо — таким, как мы, принадлежит Царствие Небесное.

— Что ты несешь, мама? Какое «Царствие Небесное»? Выкинь всю эту дрянь и не пускай ее больше к нам в квартиру. А если она позвонит, я всегда буду отвечать, что тебя нет дома.

— Ничего я выкидывать не буду. И ты успокойся.

Полина открыла нижнюю дверцу кухонного шкафа и в деревянный ящик, где обычно хранилась картошка, полетели все самаритянские дары заботливой крестной, включая консервы. Захлопнув шкаф, она предложила Максиму все-таки проглотить Риммину ветчину, тем более что она, наверное, была и вправду вкусная. Злобно шлепнув обрезок ветчины на кусок хлеба, Максим с раздражением начал жевать, и по лицу его было видно, что искреннее возмущение все же не препятствует его отличному аппетиту. Полине почему-то стало смешно.

— Кушай, мой дорогой, не стоит дергаться по пустякам, а то подавишься. Ты уже большой мальчик и знаешь, что дареному коню в зубы не глядят.

— Да коню я бы и не глядел, а тут... Она же жадная, мама! Зачем ты с ней дружишь, не понимаю.

— Потому что мне ее жалко.

Макс ничего не успел ответить, потому что в дверь позвонили. Это пришла Евгения Матвеевна в наглаженной белой блузочке, с брошечкой вместо верхней пуговицы и в бесподобной шерстяной накидке, которую она недавно связала крючком из старой пряжи и одевала теперь всегда по большим праздникам. В руках она держала подарок для Коли — допотопную погремушку, сохранившуюся у нее от собственного сына или от внука. Красиво перевязав облезлого попугайчика бывшей в употреблении красной ленточкой, она принесла своему новому любимцу не просто старую игрушку, а домашнюю реликвию, кусочек своей души. И Полина, и Максим сразу разгадали значение ее подарка и приветливо встретили Евгению Матвеевну. Она же, улыбаясь, сразу начала выспрашивать, где ее ненаглядный Николаша и как он себя чувствует. Было уже начало одиннадцатого, и Николенька сидел как птичка, подремывая, привалившись к сетке манежа. Полина осторожно взяла его на руки и тихо унесла в детскую, где через несколько минут малыш спокойно заснул в своей кроватке. А они втроем, расположившись за столиком возле елки, начали встречать Рождество. Весело поблескивали елочные игрушки, негромко болтал телевизор в углу, Максим налегал на салаты, а

Полина с удовольствием смотрела, как Евгения Матвеевна распаковывала приготовленный для нее подарок.

— Ой, Полинушка, зачем ты тратишься. Тебе же самой сейчас так деньги нужны, а ты тратишься. Зачем? Что это? Ой, какая красота! И где ты такое купила?

— Это скатерть, Евгения Матвеевна, правда, очень стильная, финская, но я ее не покупала. Это мне дали в одной дизайнерской фирме, я им рекламу делала.

— Полинушка, а это ты зря, зачем ты оплату деньгами не берешь? Ты говори, не надо вещами платить, деньгами всегда лучше. Ой, хорошая ты, я ведь знаю, как тебе трудно.

— Не беспокойтесь, Евгения Матвеевна, все фирмы оплачивают рекламу официально, по договору. А подарки дают просто из симпатии или сознательно заводят дружбу с прессой.

— Ну, если так, то можно, бери, Полинушка, все бери, когда дают, в хозяйстве пригодится. На Новый год ко мне внук придет с невесткой, а я на стол эту скатерть постелю.

— Кстати про Новый год, — захлопотала Полина, — вспомнила... Максим, Евгения Матвеевна, хотите красной икры?

— Что спрашиваешь, мам? Конечно, хотим.

Полина пошла в спальню и принесла оттуда припрятанные к Новому году бутылку шампанского и четырестаграммовую стеклянную банку красной икры.

— Правильно, мама, гулять так гулять! Это вам не килька в томате.

— Какая килька, Полинушка? Зачем икра? — заохала экономная няня. — Ты же, наверное, хотела открыть на Новый год.

— Да какая разница, Евгения Матвеевна, не будем мелочиться.

Максим молниеносно притащил из кухни белый хлеб и пачку масла. Затем он азартно принялся вскрывать стеклянную банку и откупоривать свежую бутылку, чем окончательно расстроил бедную Евгению Матвеевну.

— Не надо, мой дорогой, побереги, — умоляла старушка, — посмотри, сколько всего мама наготовила, в три дня не съесть.

— Не переживайте, Евгения Матвеевна, до Нового года еще целая неделя, самое рекламное время, Бог даст, еще успею подработать. Я завтра знаете что сделаю? Я вот что сделаю! Первым делом побольше посплю, а потом сяду и на свежую голову в одну

хорошую фирму позвоню... И как это я про нее забыла, а теперь вспомнила?

Максим и старая няня с изумлением и надеждой уставились на нее. В эту минуту Полине показалось, что было бы смертным грехом обмануть их ожидания. Поэтому, чтобы придать побольше уверенности и легкости себе самой, она прищурила левый глаз и загадочно произнесла:

— Все получится превосходно. Главное — это вовремя собраться с мыслями.

---

*Ирина Снова* — поэт, прозаик, переводчик. Окончила Институт искусств, работала редактором популярных программ на Таллиннском радио, играла на сцене театров Белоруссии и Эстонии. Член Союза журналистов и Союза авторов Эстонии. Публиковалась в периодической печати. В настоящее время живет и работает в г. Антверпене (Бельгия).

**НА ВЕТРУ**

\* \* \*

Здесь порт за окнами, здесь корабли-дома —  
такими взмыли из песков, такими канут.  
Тоска цветет весной, штормит с утра,  
и ветер с горизонта бьет навывлет.  
Крысиными побежками гудят  
пустые палубы, оглядываться тошно,  
ты вроде жив...  
А выжить здесь нельзя —  
опять глаза маяк далекий выпьют.

\* \* \*

Мой мальчик зябнет под землей.  
Еще одна зима от смерти.  
Устало горбятся снега.  
Зову...  
Но нам укрыться негде.

Бездомна боль.

\* \* \*

День — теневой волчок в пыли,  
зыбучие ладони, лица.  
И память долгая ветвится,  
как шепот и чужие сны.



Не дотянуться до звонка...  
И не уйти,  
и не уходишь.

За дверью...  
Дождь,  
цветет вода,  
старик наигрывает осень.

\* \* \*

Туман и облачная проседь,  
свинцовый голос тащит вспять,  
по коридору листья носит  
горластым эхом наугад:  
Дожди,  
дождит...  
Запнулся хохот.

А дверь просторна, как вода.  
Скользит уклейка — уже, уже...  
Ушла.

\* \* \*

Земля тасует карты под ногами,  
осенние шуты уходят в сон,  
палят костры  
и память расстилают  
дырявым дымом по ветру.

Болит... придонный город,  
говорок проталин,  
не встретишь:  
ни оживших, ни живых.  
Потерянное время задержалось  
и дышит медленно...

\* \* \*

Земля темнит...  
Сгущается ночами,  
качнется — стелет небо под бока.  
Скользят и оплавляются каштаны  
тяжелым воском  
и наверняка —  
завалят.

\* \* \*

Расколот лик луны на тьму и осень,  
и изморозь ползет густой травой.

Наш разговор — не начат, но отложен.

Слова роятся поздним комарьем:  
пусть листопад... пусть лесь...  
пусть ветер в небе...  
Два человека бредят на рассвете.

Два человека бредят на рассвете,  
когда все ложь,  
а смерть — не дольше сна,  
когда и спишь и говоришь об этом.

...как снегом оперенные слова...

---

***Инара Озерская** — поэт, прозаик, переводчик. Автор сборника стихотворений «Там» (1993), романа «Ересидарх» (2003) и др. Член Союза писателей Латвии. Живет в Риге.*

## ЧУЖАЯ ЗВЕЗДА

\* \* \*

Я говорил с чужими о чужом,  
обида и досада не тая,  
как будто в жизни, вспоротой ножом,  
барахтался, нащупывал края,

и был напрасен шепот или крик,  
и неродная речь гортань прожгла,  
а жижа подступала под кадык,  
а вдалеке сияли купола.

\* \* \*

Ярко сверкает чужая звезда.  
Глухо лепечет река.  
Зыблет и нежит чужая вода  
черную стать сосняка.

Неосяземо вечер настал.  
Над головой чужака  
раннего месяца тонкая сталь  
взрезывает облака.

Так, словно в небе, навеки чужом,  
страшный себе самому,  
Бог полоумный кромсает ножом  
неодолимую тьму.

## **Кондак**

Со дна душистого канавы,  
где тишиной пропахли травы,  
подняться, как всегда, замешкав,  
с шершавым стеблем на губе,  
благодарю, о Боже правый,  
что Ты — великая насмешка,  
и мы вповалку, вперемешку,  
гурьбой покоимся в Тебе.

А Ты пригрезился колоссом  
в блистающей сквозной порфире,  
безмерно милостив и свят,  
не погнушавшийся отбросом  
в Твоем огромном странном мире,  
где прочие едят и спят.

\* \* \*

Неважно, как меня убьют,  
в какие времена.  
Мне дорог нищенский уют —  
топчан и тишина.

Вокруг воруют, и жуют,  
и смотрят из окна.  
А что меня они убьют —  
совсем не их вина.

## **Ностальгия**

Я не смогу своей стране  
теперь присниться,  
затерян в рыжей тишине  
пустой столицы.

Зато мне снится наяву  
страна чужая,  
я падаю в ее траву  
и уезжаю,

пересекая львиный ров  
и рай сосновый,  
меняя лучший из миров  
на тихий новый.

Страну меняю на страну,  
поддавшись бреду.  
На самом деле ни в одну  
я не уеду.

\* \* \*

Если еще не чужой тебе  
если могу выбирать судьбу  
дай затеряться в твоей тайге  
словно в пушистом густом гробу —

Ты не заметишь как я войду  
с вырванной речью в пустой руке  
чем головешкой в чужом аду  
проще песчинкой в родном песке —

Был и остался никто ничей  
шарил и падал и брел во мгле  
дай безымянному как ручей  
лечь и растаять в твоей земле —

---

*Николай Гуданец* — поэт, прозаик, автор поэтических сборников «Автобиография», «Голубиная книга», «Крылья тьмы» и других, член Союза писателей Латвии и Союза российских писателей. Родился и живет в Риге.

## ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ

Почему она подошла именно к этой фотографии, и сама толком не знала. Ведь за свою жизнь «на театре» Липочка не только рисунка или фотографии артистов, но и ни одной афиши не рассматривала. Зачем ей это, артистов она и так довольно понавиделась, а в фойе («фоэ», как называла она участок, на котором убирала) и без того работы хватало, чтоб разглядывать время от времени менявшиеся на стенах картинки. Правда, изредка она проходила по ним тряпкой, пыль — что поделаешь?

Сегодня на стенах висели новые фотографии. Еще месяц назад все в театре стали говорить об этой выставке какого-то фотографа Гарина. И она, Липочка, утренняя уборщица, была первой посетительницей ее. Конечно, сама она об этом и не подозревала. Но почему же все-таки, почему подошла она к этой фотографии?

Это было необъяснимо, будто кто-то подвел ее к ней. И что в ней было-то? Возле новогодней, «уличной» елки танцевала женщина (камера зафиксировала одно ее движение: рука в рукавчике над головой и нога, готовая притопнуть), сзади кричал в мегафон массовик со смешно раздутыми щеками, да реденькая, по холоду, толпа сплошь из пенсионеров и дошкольников. Женщина в пуховом платке улыбалась. Растянутые тонкими полосками губы делали лицо похожим на плакатную луну, а глаза, смотревшие прямо в объектив, были удивительно маленькими, верно, от улыбки. Левая Липочкина рука произвольно поднялась подобно движению на снимке. Ибо там, в кадре, эта в ясно-морозный день танцевавшая жен-

щина и была она, Липочка, Олимпиада Сергеевна Заварзина, утренняя уборщица театра.

Как же, как же, она отлично помнила дни этой зимы, когда, возвращаясь из театра, она останавливалась в сквере, совсем-совсем новом, с чахлыми остовами высаженных деревьев, где под музыку танцевали у елки дети. И ей тоже становилось весело, будто и в самом деле начинался какой-то праздник, и хотелось танцевать и петь и только чуть-чуть, ну самую малость, плакать. И это было вовсе не от тех пропущенных на работе двух стаканчиков «Арбатского», а, наоборот, от совсем чистого, сумасшедшего, почти детского веселья.

Хоть становиться в круг было неловко, она все же начинала ходить вокруг елки, что-то выкрикивать и приплясывать. И после, когда чувствовала взгляды толпящихся, проходящих мимо, видела пустое снежное пространство, в котором будто плыла она, то, возможно, и была счастлива. Потому что как еще можно было обозначить эту легкость и чудесную способность впитывать лица, и восклицания, а переполнявшее веселье изливалось в притоптывании и присвисте и в том галопирующем ритме, в котором несло ее. И самой основной приметой этого состояния, счастья-то, было то, что не помнила она себя и не знала ни о своих сорока с хвостиком годах, ни о работе в театре, ни об алкоголике-сыне, ни о дочери, умственно отсталом ребенке, живущем в соответствующем интернате, ни о чем, кроме послушного самому себе тела.

В театре узнали о ее ежедневных плясках в сквере на Тверском, там, где еще недавно стояли аптека, кафе-молочная, теснились табачно-галантерейные киоски и роботовидные автоматы с газированной водой. И Рита Потапенко, вечерняя уборщица, спросила ее об этом, дескать, правда ли. Разливая в стаканы пенящуюся бордовую жидкость, Липочка сказала:

— Хлопнем, тетка, по стакану, (такая у нее была присказка), — и, слегка отпив и отерев губы, ответила, — правда, аче, играют бесплатно. Чего бы на дармовщинку не потанцевать.

Она смотрела на Риту, отчаянно жалея ее, а ведь раньше завидовала девушкам-студенткам, приходившим на подработку. Сколько их перебивало здесь на ее памяти, вот и Рита тоже.

А что у них-то было? Вот закончат институт, уедут в глухомань, выйдут замуж, детьми обзаведутся. Да и будут мыкаться, от аванса до получки, от отпуска до отпуска, от беременности до аборта... Соб-

ственно, у всех людей жизнь была одинаковой, и все были похожи друг на друга в своей маяте.

Об этом Липочка догадывалась, но узнала только в эту зиму, на своих «танцах» на бульваре, у елки.

И нынче, когда по воскресеньям она ездила за город в интернат к своей дочке Анюте, то, поглаживая маленькую головку, всматриваясь в ее раскосые глаза, поднося к вытянутым губам ребенка карамельку, она не испытывала прежней горечи и не причитала о том, за что ее Бог покарал таким дитем. Только сама громко хрумтела печеньем. Она будто бы удовлетворялась тем, что имела, и в этом наверняка была высшая мудрость — покорность, и струился из нее покой, как из только что забившего родника.

Так же примирилась она с сыном и невесткой, запившими на пару. Были они несчастными, и нельзя было их ругать или ненавидеть.

И в новом, озарявшем ее свете другой казалась и прожитая жизнь. Так, видно, предназначено было ей родиться в сороковом в молодой фабричной семье, в которой она и осталась единственным ребенком, в войну убили отца; проучиться семь классов, в восьмом-десятом тогда нужно было платить за обучение; ходить по работам — на заводах, фабриках, в конторах и, не получив никакой профессии, быть то нянечкой, то посудомойкой, то курьером, а вот теперь уборщицей; ни одного дня не быв замужем, родить двоих детей от разных мужчин...

Такова, вероятно, была ее судьба. А судьбу, известно, как и суженого, конем не объедешь.

— Выше головы, Риточка, не прыгнешь, как ты ни бейся, — продолжала она, наливая второй стакан.

— Липочка, а вам не страшно было танцевать, вдруг засмеют? — не отставала Рита.

— Чего там, не понимаешь ты ничего, — всплескивала она руками, смеясь, — ничего.

Но сейчас, глядя на запечатленную себя, она внезапно вспомнила Ритины слова. Она смотрела на глянцевый черно-белый лист, и фотография оживала, но сама она уже была не танцующей средних лет женщиной, а одной из тех, чьи глаза устремлялись на нее.

И Липочка видела, как та, другая, «счастливая» Липочка с присвистом неуклюже топала: как несуразны были взмахи рук,



сдерживаемых рукавами мешковатого пальто, слышала, как «та» поперхивалась, бледнела, но запевала срывающимся голосом, стремясь перекричать и массовика с мегафоном, и мелодию из репродуктора. Но слова относил колючий ветер, и они словно прятались среди людей, может быть, за пазухой у того, в дубленке (там, верно, тепло), или за стоявшей дамой в ондатровой шубе, державшей внучку, по самый носик укутанную мохеровым шарфом. Ничего! Хоть слова скрывались, исчезали и изменялись в разговоре, хохоте; пропадали в гуле заснеженной улицы, женщина снова и снова выкрикивала их: «Остановите музыку, остановите музыку, прошу вас я, прошу вас я, с другим танцует девушка моя...» И рука ее будто бы обхватывала талию воображаемого партнера.

Липочка закрыла глаза. Нет, это было не смешно! Она плакала: «Зачем он это сделал? Мерзавец, скотина, подлец...»

На все лады и разными словами обзывала она этого неизвестного Гарина. Шел себе мимо, увидел и заснял. Да откуда ж ему, который только и может вместо улыбки увидеть оскал, знать! Откуда?! Не знает и не узнает никогда, что может твориться в человеке, когда фотограф, ничего не понимая и не видя, да, не видя, щелкает.

Душу не заснимешь, слабо, жила тонка!

— Зачем же он так? — плакала она в голос.

Если б кто-нибудь и попытался, заговорив с ней, объяснить, что в этом и есть одно из великих назначений искусства — снимать покровы, пелену с людских глаз, обнажая истинное, приближая к сердцевине, она бы яростно ответила, что не нужно ей видеть ни себя, ни других, и никто, никто не знает, в чем правда и как жить, а может, и знать не нужно, потому что, если б и знали, не смогли бы по правде. Тяжело.

А так, зачем он это сделал, помог, что ли? Нет! Порушил, разбил вдребезги... Какое право имеет, если помочь не может.

— Липочка, брось сейчас же. Что ты делаешь? Ты с ума сошла, — кричала из дальнего угла нелепо бежавшая на высоких каблуках по натертому полу фойе администратор.

— Я право имею, а он не имеет, — Липочка рвала на части и бумагу с проклятым изображением, и картон, к которому было приклеено оно.

— Гадина, гадина окаянная, — всхлипывала она, топчя ногами лежавшие на полу обрывки бумаги и картона. Но, топчя их, она словно вошла в некий ритм и, взмахнув рукой и будто обняв кого-то, запела:  
— Остановите музыку, остановите музыку, прощупа вас я...

## Тата

— Что же это? Господи, как же это получилось со мной? — плакала она, слезы не скатывались вниз по щекам, а образовали два озерца во впадинах под глазами, как плотиной, прикрытых оправой очков.

Природа не любила Тату — не только близорукость, а отсюда и неуклюжесть, а еще и какой-то недокомплект внутренних качеств, помогающих приладиться к ситуации, приспособиться к окружающим, чтоб можно было вытерпеть жизнь.

С первых помнимых дней мир был лишь около нее, рядом, близко-близко, чуть дальше уже нечеткими становились очертания, а вдали одна размытость, каждый шаг грозил бедой, возможностью оступиться, провалиться, наткнуться, пораниться... Девочка научилась быть начеку. И эта осторожная боязливость осталась с ней навсегда.

В пять лет надели очки. За ушами натирали дужки, болела переносица, зимой запотевали стекла, снаружи налепливались снежинки. Девочке все было нипочем, очки были ее драгоценностью, и хрупкой к тому же драгоценностью, самым-самым главным предметом в жизни, продолжением ее самой. Она только растерянно улыбалась, когда детишки со двора дразнили ее очкастой Таткой.

Однажды случилось несчастье — Тату толкнули, и она, неловкая, упала, и разбились вдребезги очки. Когда она поднялась, то была точно слепая, ничего не видела, только пальцы щупали пустые кругляшки оправы. И этот ужас запомнился ей. Много потом в Татиной жизни разбивалось очков, повреждалось оправ, трескалось стекло, но никогда страх перед невидением не был таким диким, почти смертельным, как в семь лет.

Утешителем Таты был дед, уже из дому не выходивший. Когда ревущая Тата прибегала со двора, бросалась к нему. Именно к нему был обращен вопрос обиженной и обидившейся девочки: «Дедушка, я плохая, да?». Она знала ответ, но необходимо было словесное его подтверждение.

— Что ты, что ты, сердечко мое, кошечка моя...

И это было как будто решение всех вопросов, как разрешение быть...

Выросла Тата в невзрачную, застенчивую девушку, которую никак не украшали очки с большими диоптриями. Когда она была на втором курсе филфака, на ней женился аспирант ее отца, профессора математики. Тоже в очках был он и тоже стеснительный. Тата охотно пошла за него, во-первых, до этого за ней не ухаживал ни один мужчина, а во-вторых, он тоже был близоруким. Она считала всех людей в очках изначально обделенными, потому несчастными и потому же неспособными на плохое.

Как раз к тому времени, как Тате заканчивать университет, у отца начались какие-то неприятности. Поначалу Тата не особо вникала, какие именно. И только когда муж потребовал развода, а мама беспрерывно пила сердечное, она с изумлением узнала, что неприятности эти связаны с Комитетом государственной безопасности. Оказалось, что уже на протяжении нескольких месяцев отца вызывают туда ежедневно, от преподавательской работы, да и от научной он был отстранен. Обвинения, предъявленные ему, были абсурдны — в антисоветчине. Аспирантов и ассистентов заставляли оговаривать его. На это, правда, никто, кроме Татиного мужа, не пошел, но и этого, говорили, было достаточно.

Квартиру после развода пришлось разменивать, бывший муж претендовал на жилплощадь, но и дело отца, к счастью, закрыли.

После университета Тата устроилась на почасовку в школу взамен ушедшей в декрет коллеги, а позже — и на ставку.

Бесхитростная Тата собиралась сеять разумное, доброе, вечное. Может, и немного знала она сама, но и это малое, накопленное годами одиночества, размышлений, чтения — словом, все, что знала, она должна была отдать!

Это была одна из школ предместья. Из школьных окон было видно окружную дорогу, поле за ней и угадываемый в дымке лес. Хорошо было глядеть. И на детей она не могла злиться, несмотря на их мычанье с закрытыми ртами, брошенную под ноги кошку, стул в мелу, обидные выкрики... Она все говорила, все твердила, все пыталась докричаться, достучаться, ведь маленькие еще, и не должны быть у них залеплены уши и закрыты глаза! Верила, что если упорно и долго стучать в начинавшие деревенеть створки их душ, то еще

что-то можно... И потому ежедневно: «Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды...» До звезды, до звезды, до звезды... И, хоть изредка подтачивало ее неверие, она старалась. По собственному почину начала вести факультатив, за который ей не платили. На него приходили школьники, и она читала: «Сегодня ангел, завтра червь могильный, а послезавтра только очертанье...» А они ей: «Тамара Львовна! Вы нам Высоцкого продиктуйте, пожалуйста!» Она им диктовала.

С годами постепенно уходила из нее уверенность, что можно что-то сделать, пробить брешь в стене между нею и ними. Стена была сродни Великой Китайской, и стоять ей было века. Пришло время, когда и ей стало безразлично все-все: и то, что считали ее с «приветом», и что зубоскалили о ней не только старшекласники, но и коллеги, дескать, будь у нее семья или какой-нибудь мужчина, то и не занималась бы она всей этой чепухой. И ее тоже незаметно втягивало в какую-то вязкую жизненную тину, где вяло барахтались все — цинично, безразлично, безнадежно...

Венец ее школьного периода был прямо-таки мученический. Поддавшись всеобщей спячке, и она на одном из уроков что-то сонно бормотала о гоголевской «Шинели», о Башмачкине. Только что то же самое она отчитала в параллельном классе и теперь уныло пересказывала. Но тут ей вспомнился Достоевский с его замечанием обо всей последующей за Гоголем русской литературе. И она неожиданно произнесла вслух: «Как заметил Достоевский, мы все вышли из гоголевской «Шинели». И сама, будто глотнув живой воды, восстала из царства мертвых.

— Ты — так уж это точно, — услышала она ехидный шепоток.

— Оставьте меня, зачем вы меня обижаете? — невольно вослед за Акакием Акакиевичем пробормотала она, закрывая лицо, отворачивая его от них.

Вскоре по чьему-то доносу факультатив закрыли как идейно несостоятельный. А Тате пришлось уйти — по «собственному желанию».

Много мест в разных учреждениях к своим сорока годам переменяла Тата. Кем только не пришлось ей побывать — и корректором, и экскурсоводом, и библиотекарем, и смотрителем залов в музее!..

Уж несколько лет после внезапной кончины отца (дед умер давным-давно, казалось, что в незапамятные времена) они с матерью бедствовали. Были они нерасчетливыми, не умеющими вести хозяйство на мизерные пенсию и зарплату.

Тата, чтоб хоть как-то подправить положение, шла на всяческие подработки, — в Горсправке, в школе на проверке тетрадей — сочинений, изложений, диктантов, — на репетиторство, на ночное редактирование в газетах, на... Но понапрасну. Нужно было решиться на нечто, пусть даже и авантюрное.

И это нечто явилось Тате в виде ее еще с университетских времен знакомого — Бориса Никитинского. Оказалось, что бывший однокурник работает в тресте столовых и подрабатывает на банкетах и свадьбах... тамадой! И Тате он тоже, по-свойски, предложил стать тамадой, конечно, отчисляя ему с каждой проведенной свадьбы, на которую он будет ее устраивать.

Поначалу Тата бурно отказалась, предложение шокировало ее. Но позже, изумляясь самой себе, согласилась. Борис даже не удивился.

Для работы пошла себе Тата несколько вечерних туалетов. Еще некоторое время назад она бы и подумать не могла, что сможет надеть на себя что-то эдакое блестящее, облегающее, чересчур открытое... И, глядя в зеркала дома или в банкетных залах, она подчас и не узнавала себя. Но тут же себя и одергивала: опять эти интеллигентские сопли-вопли, всякая работа есть работа и ничего зазорного в ней нет! Она научилась макияжу. И от Бори, и от поклонников, а таких находилось много на каждой свадьбе, выслушивала комплименты. Очки заменились контактными линзами. Единственное сохранившееся в ее облике от нее, от прежней, было то, что шла она на высоких каблуках боязливо-настороженно.

Она начала понемногу выпивать, самую малость, для настроения. Борис же, как-то прийдя за деньгами, сделал ее своей любовницей. Перед каждым актом обладания он долго и нежно целовал ее в покрытые веками глаза и полупьяно шептал что-то вроде: «Моя волоокая Гера». Тата была ему признательна.

Она штудировала труды по свадебным ритуалам, просматривала книги и справочники. Каждая ее свадьба была непохожа на другую, и вот она уже нарасхват, и денег достаточно, и, как ни странно, Борис, которому она теперь ничего не отдавала (клиенты обращались напрямую к ней), оставался с нею. Что бы это было?

Она не задавалась вопросами, да и времени не было в этом бесконечном веселье и сплошных удовольствиях. И, конечно же, когда началось это, она и не заметила. Впрочем, о самой себе она и думать не привыкла, настолько ей в самой себе все казалось ясно, просматриваемо, просто, как дважды два. Это все остальные — другие — были загадочными, непостижимыми существами...

Может быть, это началось на какой-либо из особо шумных свадеб, когда она бессознательно повысила голос и все почему-то затихли, слушаясь, а может, по-другому, когда она вошла в образ богини-покровительницы семейного очага и шуточно предложила молодоженам поклонить колени, и они, обалделые, и впрямь грохнулись перед ней. А может... Мало ли что может.

Тату поразила сама возможность послушания, желания людей подчиняться. Но она и себе поражалась, ее-то никогда не привлекала желтая майка лидера, да и противен, должно быть, рабски, с придыханием, в затылок идущий за тобою вослед! Она постаралась не задумываться над этим и не стала рыться в книгах по социальной психологии, психологии масс или стадным инстинктам толпы. Но и отвлечься от этого, как ни хотела, не смогла.

— Но во мне-то, во мне откуда взялось все это?! — восклицала она, рыдая в своей комнате ночью, тихо, чтобы не разбудить мать, вспоминая все события сегодняшнего свадебного вечера. Свадьба как свадьба, разве что играли ее в одной из приспособленных для этого столовых, в том же предместье, где когда-то мучилась она учительницей.

Поначалу несколько смущенными торжественной обстановкой были жених с невестой, и родня их — тоже. Но с каждым тостом то ли приходили они в себя, отпускали себя на волю. И что-то во всех них, в хозяевах и в их гостях, было неприятно-знакомым Тате. Не то чтобы она кого-нибудь из них знала, просто лица были знакомыми, да мало ли кого из них она не перевидала за годы хождения на школьную каторгу, половина слободки здоровалась с ней тогда. И из-за того, что она их узнавала, саднило внутри. Боязни быть узнанной она не испытывала, слишком изменилась она, им и не признать, к тому ж, содрогнулась она, они, они в ее власти! Вовсе даже и неправда, что тот, кто заказывает музыку, тот и хозяин! Это только видимость Хозяина, аберрация!

Это она обладала сейчас реальной властью над ними, она ими повелевала, могла заставить делать, что сама захочет...

Она увидела обращенные к ней лица, покорно ждущие ее приказаний, готовые за ней, из-за нее на все. Жесткой сеткой, как панцирем, было покрыто в это мгновение ее сердце, холодным становился безжалостный, умеющий лишь высчитывать мозг, соколино-зорким — близорукий прищур глаз. Ох, не укрыться им от нее, сейчас намилуется, ответит душеньку! Подала команду: «Танцевать!» Под повелительный ее возглас как бы сам собою врубился стереофонический магнитофон, и все, как будто заведенные, пустились в пляс.

Она бродила между танцующими, подбадривая их. Запыхавшая невеста остановилась и тяжело дышала. И Тата вдруг увидела ее живот. Нелепый, словно той удалось проглотить крутленький-крутленький мячик, оттопыривавший немислимую кружевную белизну платья.

— Ах, вон оно что, — рассмеялась Тата, останавливаясь, — вот почему не получается у нас настоящего веселья, тут прячется от нас кто-то.

Она провела рукой по этой невероятной округлости и замерла, потрясенная заполненностью, о которой и ведать не ведала. За упругим брюшным прессом затрепыхалась, занудила, затосковала Татина матка.

— Всем за стол! — отчаянно, чтобы осадить себя, закричала она. И все они с гамом, по-пионерски, отгалкивая друг друга, в шуме и неразберихе стали занимать места.

Тата чуяла, что нужно срочно переломить себя, отойти от потрясения, стряхнуть с себя это колдовское очарование, иначе воспоминание об этой невесте со спокойно-коровьими глазами навсегда останется с ней, в ней, над ней... И в скачке мыслей она-таки зацепилась, догнала, выгащила на поверхность ускользавшую спасительную цитату.

Тата подняла пузатый, с плещущимся на дне коньяком бокал, и все притихли. Незаметно сойдя с разговора о любви к деторождению, она закончила: «...жажда личного соединения ведет в конечном счете (она исказила, а может, и извратила мысль Бердяева, ей было наплевать на это сейчас) к деторождению, к распадению личности в деторождении, не к хорошей вечности, а к плохой бесконечности... А теперь — горько! Всех прошу встать!»

Действительно напотешилась она, отвела душу, насладились!

Потом она первой заметила на сказочной кружевной белизне невестинного платья расплзающееся красное пятно.

Вызвали «скорую». Молодые уехали на ней, как в старину на свадебной карете. Гости продолжали есть, пить, нестройно запевать. Снова решили танцевать. И тогда в ужасающей близости увидела Тата склонившееся над ней покорно-жадущее лицо невесты откуда взявшегося жениха. Неуклюже, как некогда, поднялась она и, поскальзываясь на линолеуме, опрокидывая по пути стулья, бросилась вон.

И вот уже в ночи плакала она, без вина хмельная, печально поскрипывали створки души, протягиваемые сквозняком, было зябко и знобко.

И неслышимо возопила она, не зная к кому, к покойному ли утешителю-деду, к Богу ли: «Я плохая, да?!»

Ответа не было...



**ЧТОБЫ ПЕЛА Я АНГЕЛАМ НЕБА**

\* \* \*

Каждый случай говорит о судьбе —  
Каждый угол мне твердит о тебе:  
Здесь когда-то ты меня провожал,  
Здесь ладонь мою в своей задержал.

У меня подобных мест целый вал:  
В этом парке ты меня целовал,  
В этом доме, что узнаешь едва,  
Колдовские говорил мне слова.

Нам теперь с тобой встречаться в кафе —  
Все равно что вышивать по канве:  
Каждый помнит наизусть роль свою,  
Потому что дежавю, дежавю.

У истока стоя, думала, что  
Я люблю тебя за то и за то...  
Но чем ближе сносит к устью реки,  
Тем понятней, что люблю вопреки.

## Сердце поэта

Бедное сердце поэта  
Ждет городскую любовь.  
И ничего, что об это  
Столько расшиблено лбов!  
Что и не сладить с любовью,  
И не стоять под венцом...  
Мне ли бояться злословья —  
Я его знаю в лицо.

Вся наша тонность и чинность  
Только ошибка да боль.  
Что бы с тобой ни случилось,  
Я буду только с тобой!  
После войны и разрухи  
Выйду встречать на крыльцо:  
Мне ли бояться разлуки —  
Я ее знаю в лицо.

Что ж я понять не умею  
Чем ты сегодня томим?  
Что же мне профиль камен  
Видится рядом с твоим?  
Плюсы твои несомненны,  
Ты не бывал подлецом...  
Мне ли бояться измены —  
Я ее знаю в лицо.

Меченый тою же метой,  
В тех же грехах преуспев,  
Что же ты в песенке этой  
Мой не подхватишь припев?  
И удержать не стремишься,  
И не строчишь письмецо...  
Ты ничего не боишься,  
Ты меня знаешь в лицо.

## Баллада

Я на землю явилась в положенный срок  
(Жаль, на небо позвали до срока!),  
Мне достался тогда небольшой голосок,  
Тонкий стан да глаза с поволокой.  
Ну и ты объявился в назначенный день,  
И судьбой не обижен был тоже,  
Если выпал на долю солдатский ремень,  
Нрав горячий да смуглая кожа.

Нет, мы не были вовсе с тобою в родстве,  
И хоть сразу сомкнули объятия,  
Ты кольца не надел мне на том торжестве,  
Где у девушки белое платье.  
Ибо было мне послано то, от чего  
Не спасает ни блат, ни плацебо,  
И забрали отсюда меня для того,  
Чтобы пела я ангелам неба.

Знаю я, что замены ты мне не искал  
(Ох, прости, молодецкая сила!),  
Ты, оставшись один, только пил да стрелял,  
И удача тебе изменила.  
На одном блокпосту разорвался фугас,  
Взвился смерч из огня золотого...  
И тогда тебе вышел последний приказ,  
Чтоб пополнил ты войско Христово.

Ты сначала не понял: мол, что за беда,  
Ты остался горяч и неистов.  
Да, я помню, что был ты при жизни всегда  
Атеистом среди атеистов.  
Петр святой тебя впустит, ключами звеня  
(Я об этом его попросила!),  
Знаю, в райских садах ты узнаешь меня —  
Я как прежде тонка и красива.

## Колоннада

В окна этого кафе смотрит колоннада,  
Словно питерский привет нашему столу.  
Я все пела для тебя, а тебе не надо.  
Непонятно, почему петь не устаю.

Ты ведешь себя со мной правильно да строго —  
И в природе оттого началась зима.  
Если только этот снег, выпавший до срока,  
Не растает до весны, я сойду с ума.

Ах, судьба со мною зла: кинет-недокинет —  
Тьма, ненужность, гололед нынче на дворе.  
А ведь были у меня зимы не такие,  
Было столько темных роз в светлом январе!

Лишь студеная зима грусть-тоску нагонит,  
Я смотрю, как поезда мчатся мимо, и  
Представляю, как в ночи, в сумрачном вагоне  
Ты захочешь услышать песенки мои.

Я не против, дорогой! Слушай, коли надо,  
А по нраву ли они — после поглядим.  
В окна этого кафе смотрит колоннада.  
Если в Питер попадем — там и посидим.

---

*Евгения Ошуркова* окончила Рижский институт инженеров гражданской авиации, участник и лауреат различных фестивалей авторской песни, публиковалась в журналах «Даугава» и «Родник» (Рига), альманахах «Сталкер» (Лос-Анджелес), «Встречи» (Филадельфия), «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Связь времен» (Сан-Хосе) и других изданиях. Родилась и живет в Риге.

## К САЛЬЕРИ

*Анненков — Катенину:*

«Сальери у Пушкина всего лишь  
художественный символ зависти.  
Искусство имеет другую мораль,  
чем общество».

*Катенин — Анненкову:*

«Стыдитесь! Вы, полагаю, честный человек  
и клевету одобрять не можете».

### 1

Имеют смысл лишь мифы о тебе,  
о ней, о нем, о миссии народа.  
Что западает на язык толпе?  
Намек. На ложку дегтя или меда.

Так остается в памяти сюжет  
из жизни исторического тела,  
когда уже забылся взгляд и жест,  
но по намеку вспомнишь, в чем там дело.

История времен, как и людей,  
тем и берет, что тяготеет к притче.  
Зачем ей без корысти иудей  
и римлянин без Беатриче?

И музыкант австрийского двора  
без мышьяка для гения и друга?  
Без мышьяка не наскребешь добра  
и зла на квадратуру круга.

Все жития — не больше, чем урок,  
где летописец извлекает прок  
из прошлого, тасуя пересуды.  
И мы с тобой, читая между строк,  
заучим, что сюжетен лишь порок.  
Здесь — чистый яд, там — поцелуй Иуды.

## 2

Кому, как не тебе, так повезло  
сравняться, например, с Искарриотом  
в забеге на классическое зло,  
а не на чудо, свойственное нотам  
(в чем победил бы точно Амадей).  
Теперь ты знаменит среди людей,  
благодаря... но не твоим заботам.

Молва всегда живет благодаря.  
Без случая и рок не постучится.  
При том, что было, строго говоря,  
представь себе, могло и не случиться:

досужий слух, причем не ясно, чей,  
о том, что некто Моцарт был отравлен,  
так быстро пал под логикой врачей,  
чей приговор тогда же был объявлен,

что эхо пущенного слуха  
там, в Австрии могло сойти на нет,  
когда б спустя почти что сорок лет  
оно бы не достигло божья уха.

## 3

В другой стране, в другие времена  
судьба нашла тебе евангелиста.  
Не музыканта. Не его вина,  
что он не знал ни ференца, ни листа.

Не до того, чтоб нот не различал,  
но сам шутил, что, слушая иного,  
скорей всего, скрипичного ключа  
не отличил бы от дверного.

И в опере панически скучал,  
предпочитая ей природу танца.  
Но из газет, какие получал,  
он точно знал, что якобы Констанца

(ходившая во вдовах сорок лет,  
притом что дважды заходила замуж)  
передала из прошлого привет,  
сказав, что гений мог покинуть свет,  
отведав яда, но судить не нам уж.

За ней — тем больше дров, чем дальше в лес.  
Кроме того (газетных версий кроме)  
ты сам к себе пришпорил интерес.  
Как записал маэстро Мошелес,  
наведавший тебя уже в дурдоме:

«Ножом нанес себе телесный вред,  
клянясь, что он — не из подонков,  
рыдал, просил развеять жалкий бред.  
Не для него, а для его потомков».

Про что любой придворный стар и мал  
мог смело говорить: свежо преданье.  
В том смысле, что другой бы понимал,  
что отрицанье больше, чем признанье.

Тем более, нанес себе порез.  
Членовредительство — ведь это не беспечность!  
Вот тот, кто целовал, тот выбрал лес,  
полез в петлю. А вылез в бесконечность.

#### 4

Спустя лет пять со твоего одра  
был звездопад. Одна разбилась оземь.  
К востоку от Дуная и Днепра  
стояла в окнах болдинская осень,

очей очарованье и пора,  
когда к поэту из дубрав и сосен  
вбегали музы, нимфы, детвора  
румяных рифм, когда из-под пера  
летят слова, столбцы, et cetera.  
И воздух промедления несносен.

Неправда ли, поэт — почти двойник  
того, чьим даровым игривым нотам  
завидовал любой, кто страдным потом  
тачал гармонию. И ты — один из них,  
Антонио, свидетель — твой дневник.

Вот так отравный опыт и возник.  
Теперь уже с восточным поворотом.

#### 5

Два кратких акта. Пятистопный ямб.  
Но не рифмованный, а белый.  
То монолог, из тех, что весь для рамп,  
откуда лучше слышишь децибелы

о всей несправедливости небес,  
не по труду дающих, а по дару,  
то диалог, где ты, как сущий бес,  
для мышьяка присматриваешь тару.

В прологе — зависть, в эпилоге — месть.  
Как верующий в письменного бога,  
читатель все твердит: тут что-то есть.  
Не в черном человеке ли подмога?



Он говорит себе: шерше, шерше!  
Не зря близ ядовитого итога  
упоминает Моцарт Бомарше  
(о коем якобы ходили слухи,  
что тоже отравил, увидев в друге  
соперника)... Но яд уже — в ковше.

## 6

Кто пишет сам, тот пишет о своем,  
хотя слова он отдает герою.  
Как будто он сдает в доход, внаем  
то, чем страдает сам порою,

что мучает. Ну, например, вопрос:  
что проку в гении, когда он смертен тоже?  
Мол, если гений планку и вознес,  
то он умрет и возвратится то же.

Так пусть тогда покинет мир сейчас!  
Слова твои, Сальери. Но похоже,  
евангелист предупреждает нас,  
что собственное мертвенное ложе

недалеко. И черный человек  
уже сидит за разговором рядом,  
дает обед, поругивает век.  
Но провожает друга на ночлег  
вином со смертоносным ядом.

Причем поэт, скорей всего,  
предчувствует, но все-таки не верит.  
Не зря же Моцарт говорит Сальери,  
что Бомарше был гений. И его  
запачкало бы мерзкое затейство.  
Быть может, у него причина мстить  
была, но невозможно совместить  
две вещи — гений и злодейство!

Тогда кого имел в виду поэт?  
Кому он посылает ноту?  
Кто гениален и сомненья нет,  
что тот готовит жалкую охоту?

Кто этот Кто, кто рядом, кто не спит?  
На что намек? Что яд уже испит?  
И если так, то вовсе не случайно  
той осенью вдруг вырвалась в тетрадь  
одна строка элегии печальной:  
«Но не хочу, о, други, умирать!»

7

Миф больше жизни. Тень всегда лютей.  
К закату дня по крайней мере.  
При стопроцентной смертности людей  
просачиваться в присное, Сальери,  
пытались многие. Немногим удалось  
в донашей, да и в нашей эре  
пройти ночное зеркало насквозь,  
поскольку зеркала — не двери.

Посредственности расшибали лбы.  
Другое дело — баловни судьбы.  
Их для того и посылают боги,  
чтобы они стояли, как столбы,  
на уходящей к вечности дороге.

При звуках гаврииловой трубы  
у остальных какие были виды?  
Завоевать соседнюю страну?  
Ну разве что, как было в старину,  
поджечь Эфесские хоромы Артемиды?  
И то, когда бы не пришел запрет  
упоминать отступника за вред  
по имени и лишь казнить нон грата,  
но не клеймить, не вспоминать о нем  
с его безумством и его огнем,  
то кто бы нынче помнил Герострата!

## 8

У всех запретов общая судьба:  
теперь мифангелистов у тебя  
не меньше, чем у сына Вифлеема  
не потому, что кашу заварить  
взялась одна поэтова поэма,  
а вот по сговору не говорить,  
что есть лишь миф, не ворошить, не трогать.  
Кто трогает, тот запускает коготь!

И то сказать, как бледен ученик,  
решившийся вопросы учинить  
учителю, найдя в его тетради  
ненужный ноль! Оставить все как есть?  
Ибо вопрос, какого черта лезть,  
он есть вопрос, какого бога ради.

## 9

Скажу тебе, что я и сам считал:  
есть только текст. И, рассуждая здраво,  
свой сочиняя рецитал,  
поэт имеет собственное право.

На что? На все. Наслатъ чуму на Тверь,  
свести Наполеона с фараоном.  
И если смерти указать на дверь,  
она уйдет в стихотворенье оном.

И лишь поэту ведать, что творить.  
Иначе, с точки зрения иного,  
поэт не должен был приговорить  
к терзаниям и Годунова?

Поэт не сыщик, но взыскует суть.  
Не следователь, но идет по следу.  
Он не судья, но совершает суд.  
И умерших он отправляет в Лету,

а не на Новодевичий погост, —  
сказал бы П. Катенину при встрече  
П. Анненков. — Поэзия есть пост  
в употреблении нормативной речи —  
параграфов, свидетельских улик,  
падучей мальчика, играющего в тычку,  
поездок в Углич Шуйского на крик...  
Не Шуйский, а поэт поджмет спичку,  
способную поджечь эпоху смут.  
Он говорит: резня вошла в привычку!  
И нет таких, что сраму не имеют!

Евангелист — лишь род поводыря  
в чужих страстях. И он идет вслепую.  
О, письменность! Ты — черная дыра,  
сосущая из бытия люблю,  
блажую ли, дурную ли, но весть...  
Катенин же, другого взяв поэта,  
ответил бы приятелю, что есть,  
есть божий суд, приятель, и на это.  
«И мысли, и дела он знает наперед».  
Все просто, как холщовая рубаха.  
И если кто улик не наберет,  
то нечего тревожить горстку праха.

Есть двойственность природы языка  
искусства. Но не двойственность морали.  
Пускай стихи парят себе, пока  
одной живой души не замарали.

Теперь она трепещет, как дитя,  
прислушиваясь к взрослым разговорам:  
поймут? Поверят? Или, не щадя,  
поставят на горох с позором?  
Исполнен до конца ли этот долг?  
Как сказано, «завещанный от Бога  
мне, грешному». Вот это взять бы в толк:  
мне, греш-но-му. Всего четыре слога.

10

Сальери, мифы не уходят вспять,  
а лишь вперед. Что в той земле, что в этой.  
Кто не дает тебе спокойно спать,  
он сам не спит. Ты на него не сетуй.

Сочти великодушно, что возник  
инакий смысл, пусть даже не бесспорный.  
Хотя бы в том, что все-таки воздвиг  
он памятник тебе нерукотворный.

Какой — другое дело. Вот из тех,  
что украшает вывески аптек.  
Змея и чаша. Кто бы удержался!  
И ты его за это не вини.  
Ты помнишь сам, как некто де Виньи,  
ища улик отравных, сокрушался,  
что нет, что жаль, какой сюжет скончался!

Как сочинитель опер надувных  
ты понимаешь, сколь неоценима  
пружина умысла. Будь ты в живых,  
клянусь тебе, ты не прошел бы мимо.  
Как не прошел, почуяв интерес,  
Н. Римский-Корсаков, добавив грима  
к страстям либретто Пушкина А. С.

Представь подмостки Вены или Рима,  
Шаляпин, Шкафер, рукоплесный лес...  
Кому какая разница, что мнимо  
и что теперь уже неоспоримо.  
Поскольку музыка неповторима,  
поскольку это — музыка небес.

---

*Владлен Дозорцев — поэт, прозаик, драматург, сценарист. Лауреат многих литературных премий. Кавалер Ордена Трех звезд — высшей государственной награды Латвии. Живет в Риге.*

## САМОУБИЙЦА

Он прилетел рейсом из Дублина. Высокий, сухопарый господин в короткополой шляпе из итальянской соломки ржаного цвета. Три часа полета над Испанией, Францией, морем, горами. Влажная прохлада, переменчивая, ветреная погода остались позади. После тесноты кресла, салона, заполненного почти полностью пассажирами, детских криков и беготни, ему захотелось глубоко вдохнуть свежего воздуха. Вместо этого он окунулся в плотную духоту южной ночи, насыщенной пряными ароматами, и ощутил разочарование и жажду одновременно.

Он глянул на небо, густо усеянное разнокалиберными звездами. Подумал, что какая-то там — его, и так просто ошибиться в их огромном скопище и впасть в отчаяние. Хотя какая теперь разница, в его-то годы, но вот ведь тянет в небо взглянуть и поразмыслить о вечном. Впрочем, если хорошенько подумать, не так уж и много тем, вокруг которых роятся наши мысли.

Сопровождающий дождался, пока все соберутся у трапа, проводил до аэровокзала, это было недалеко. Поначалу Господин не спешил, потом пошел быстрее, но без суеты, захотелось двигаться.

Длинная галерея, в конце которой поблескивала стеклом кабинка паспортного контроля. Беззвучно шевелил губами сержант, шумный зал, встречающие. Все как обычно.

Господин не обращал внимания на других пассажиров. Высокий, внешне он выглядел моложе своих лет. Спина прямая, нос правильный, усы короткие. Глаза усталые, светлые, взгляд цепкий, скорый, брови и виски седые. Одет просто, но дорого. Свет-

лые брюки, куртка цвета белой ночи, льняная белая рубашка в редкую темную полоску, коричневые мягкие туфли.

Он выделялся из толпы, невольно притягивал к себе внимание осанкой, но был погружен в свои мысли, отрешен, и казалось, окружающая суета его не касается. Внешний вид, повадки выдавали человека сдержанного, даже замкнутого, не склонного к быстрым элементарным контактам. Его вежливо сторонились.

Вещей мало. Небольшой кожаный кофр забрал встречающий, среднего роста услужливый человек, хозяин небольшого шале. Розовощекий, пышущий здоровьем мужчина. Это тоже знак уважения — лично встретить уважаемого гостя. Односложные вежливые вопросы, такие же ответы. И молчаливая поездка. Надо было проехать из аэропорта на берегу моря, километров семь. Сначала в горы, наверх, по крутому серпантину узкой дороги. Внутри извилистого тоннеля из ветвей деревьев и каменных навесов скал, неверных теней от света автомобильных фар, постоянно переключаемого водителем с ближнего на дальний.

Он машинально сглатывал слюну, чтобы с подъемом вверх не давило на перепонки, словно самолет все еще шел на посадку. Подумал, что жизнь может быть одной сплошной нитью, мягко сматываться в красивый клубок, а может часто рваться и состоять из кусков, связанных узлами. И тщательный анализ каждого движения, мыслей, поступков и того, что окружает, похоже на утомительную трепанацию черепа собственными руками.

Начала болеть голова. Его слегка мутило, он отвернулся к окну, рассеянно вглядывался в темноту за окном. На крутых поворотах водитель подолгу сигналил встречным авто, то сбавлял, то увеличивал скорость.

Немного спустились с перевала. Трехэтажный дом, освещенный двор. Почти на краю высокого скалистого обрыва. Прислуга, собаки. Суета, громкие разговоры, приветствия. Он вежливо, едва приметно, улыбался, что-то отвечал. Ему были рады. В такой глуши всегда рады новому человеку. На ужин нежное мясо ехидны в белом соусе, красное вино, фрукты, сыр.

Ехидны приходили по ночам, полакомиться в огороде овощами. Сын хозяина ставил на них веревочные хитроумные ловушки. Потом изредка попадались на глаза острые, черно-белые иглы. Большие и бесполезные, они навевали грустную мысль о том, что их, наверное,

можно использовать на манер гусиных перьев, писать стихи и адресовать их Незнакомке — NN.

Он представил крохотные лапки ехидны, похожие на детские ручки. Стало неприятно, отодвинул тарелку, выпил вина.

Хозяину хотелось поговорить, они не виделись целый год, но гость оставил все дела и разговоры назавтра: очень устал после перелета, дороги. Захотелось остаться одному. Подумал: «Нелепость наших поступков возникает из-за несоответствия между порывом что-то сделать и желанием мгновенно от этого отказаться».

Сказал, что идет спать. Хозяин тактично согласился.

Она смотрела на него со стороны, молча и незаметно. Солидный господин. Особенная категория мужчин. Именно мужчин. Кажется, он сейчас протянет навстречу крепкую ладонь. Жесткую, надежную. И можно попасть в поле зрения, смело лизнуть эту ладонь. Или совершить какую-нибудь глупость, лишь бы обратить на себя внимание, неназойливо порадовать, заставить улыбнуться.

Это неповторимое, веселое щекотание, где-то очень глубоко внутри. Оно возникает вроде бы из ничего, из одних лишь предощущений, на пороге чего-то радостного и того, что может исчезнуть в любое мгновение. Должно быть, это и есть — счастье.

Он не обратил на нее внимания. Попросту не заметил. Поспешил в свою комнату. Скромная обстановка. Все как обычно, на своих местах. Окно в крыше приоткрыто. Темнеют верхушки высоких араукарий, тянут загадочные щупальца ветвей на фоне звездного неба.

Показалось, что кто-то стремительно летит прямо к нему: «Земля стала похожа на переполненный посудный шкаф — со всех сторон вываливаются летающие тарелки». Улыбнулся этой мысли.

В комнате свежо, чувствуется близость гор. Он достал небольшую рамку. Пристально всмотрелся. На фотографии жене около тридцати. Они были в гостях у ее родителей, вышли в сад после обеда. Она улыбается, забавно щурится на солнце, не ведая, что прошла уже половину жизненного пути. Милая, далекая... Все еще волнует:

— Всегда кто-то за нас решает, особенно время — жил, жив или будешь жить! В какой момент появляется привычка жить? Привычка жить и желание жить — две большие разницы. Когда



начинаешь понимать, что выпускаешь из рук нить жизни, она, должно быть, становится невыразимо дорогой, просто необходимой, как воздух, вода, но уже поздно что-либо изменить.

На фоне ветвистой, как хитросплетения судеб, яблони на руках жены любимая белая болонка ее матери, тоже улыбается в объектив из-под задорной челочки. Болонка по имени Крошка. У жены короткая стрижка, светлые волосы. Он закрыл глаза, вспомнил множество мелких деталей одежды, ее походку, смех, поворот головы, родинки в каких-то лишь им ведомых местах.

Жена умерла. Какое банальное слово — ушла... Онкология. Болезнь сожгла ее мгновенно. Оставила восковым желтым пятном. Невесомым, холодным, изменившимся до неузнаваемости. Отстраненно чужим. Почему? Чтобы вспоминать ту, другую? Сильную, улыбку, теплую. Запоздало оценить, как она была прекрасна!

Она ушла. И не вернется, поэтому он боится произносить вслух это слово. Нет же! Ее нет, она не ушла, ее попросту нет! А мысли не оставляют его в покое. Они приходят к нему по-разному и бывают острыми до боли, грустными, меланхоличными. И вдруг возникает бессильное возмущение — за что? Мне? Именно мне! А когда он сильно устает, настраивают на философствование, отстраняя от всего, что рядом, делая его нереальным.

Он был эгоистичен, собственник, думал, что позволяет ей любить себя, а оказалось, что единственная, кого он любит, эта спокойная, улыбкающая женщина. Он не заметил, когда в нем произошла эта метаморфоза. Просто с ужасом это почувствовал в один миг, когда ее не стало. Как дорого заплачено за это прозрение.

Флирт с другими женщинами. Суетливые интрижки на фоне самолюбования. Воспоминания эти унижали его сейчас и вызывали запоздалую, сильнейшую досаду на собственную глупость. Ведь вместо того, чтобы ценить каждый совместно прожитый день, он транжирил бездумно время. Их общее, как оказалось, бесценное, такое короткое время.

Самое коварное в старости — медленное завоевание ею всего такого привычного, с чем свыкся за жизнь. Можно ли привыкнуть к жизни настолько, что потом она будет вызывать сильнейшее разочарование, потому что это у тебя отбирает сама жизнь? Загробный мир не может вызвать разочарования, потому что он по-настоящему неведом, а вот смерть, как и всякий переход в другое качество, обя-

зательно вызывает разочарование. Освобождение как этап завершения одной крайности и начало иных иллюзий. И так без конца, потому что вариации бесконечны, как сама жизнь.

Он вспомнил, как умирал отец. Широко и беззвучно открывал рот, прикрыв ресницами ввалившиеся глаза, и так был похож на морское существо, выползающее на сушу, но еще без легких. И едва уловимый запах старческой кожи, тлена, несвежей птичьей клетки.

Это была глубокая старость, и уход был облегчением для отца и близких. И все равно жизнь так коротка, что детство так толком и не заканчивается?

Когда приходит понимание — вот она, старость? Разве возможно назвать точно день и час? Это же не повестка, не телеграмма на казенной бумаге. Это происходит постепенно, словно вода подтапливает высокий берег, крадется незаметно, своевольно, чтобы в какой-то момент явственно дать почувствовать — а ведь я — старик!

— Встать к кресту, помолиться? Это похоже на казнь. Жажда увидеть казнь воспитывается с детства, с момента приобщения к распятию. Монолог в одиночестве — первый шаг к Богу? Нет, я не готов быть искренним с ним на встрече. Значит ли это, что уйду не скоро и буду мучиться бесконечным, долгим раскаянием?

Он никогда не задумывался о том, кто из них уйдет первым, и болезнь поначалу его не испугала. Смерть жены воспринял с молчаливым, внутренним возмущением, оно не могло никак раствориться в жгучей влаге невыплаканных слез, потому что это казалось ему вероломством. И медленно разъедало прежнюю уверенность в чем бы то ни было.

Если бы они прожили вместе долгую жизнь, до глубокой старости, забывая, с чего же все начиналось, теряя остатки памяти, становясь обузой друг для друга, теряя терпение от одного лишь присутствия рядом немощного старика... старухи. Тогда ее уход он воспринял бы по-другому?

Не бывает в этом месте сослагательного наклонения.

Скорая смерть была похожа на катастрофу, словно жена у него на глазах вдруг оказалась под колесами большого грузовика. Или рухнула в океан вместе с другими пассажирами. Нет, погибла в результате взрыва. Не так мучительно, как тонуть или

сидеть в кресле рассыпающегося самолета и дожидаться смерти, понимать с ужасом, что она пришла и ничего уже не изменить. Так ли важны эти размышления сейчас?

Он думает об этом с болью. В памяти возникают целые куски их жизни, всплывают слова, обрывки разговоров. Да. Самое поразительное — начало внутреннего монолога. С ней. Мгновенное прорастание, появление из небытия образов. Еще не до конца явных, но созвучных чему-то глубинному, внутри. Казалось бы, уже уснувшему, далекому от того, чтобы удивлять, вызывать смех, улыбку. Забывать в этот миг о времени, восторгаться чьим-то остроумием. Какими-то звуками извне, откликаться на них. Но ведь ее уже нет, а он разговаривает с ней, словно она по-прежнему рядом:

— Как удивительно мы можем быть открыты и искренни в этом. И так редко, коротко, и такая после этого наплывает пронзительная грусть, граничащая с тоской! Можно быть одиноким вдвоем. И если нет рядом близкого человека, значит, я вдвойне одинок? Искренность в некрологе непозволительна. Может разорваться сердце.

Он увлекся музыкой. Серьезной, классической музыкой, хоть и плохо в ней разбирался. Получилось само, что он потянулся к звукам. Садился, надевал наушники, закрывал глаза, добавлял звук и слушал. Сначала это был хаос, железный скрежет невиданного космоса. Он обступал его, проникая в каждую клетку существа, начиная понимать, что тишина, заполненная хорошей музыкой, перестает быть молчаливой пустотой. Потом он стал узнавать, предвосхищать какие-то ноты, целые куски композиций. Только инструментальную музыку в исполнении лучших оркестров, избегая сольных партий, особенно женских.

Нет ничего ужасней пустоты, молчаливой пустоты, потому что ты перестаешь быть собой, погруженный в этот вакуум.

Потом он возвращается к рутине повседневного и понимает, что высшая степень одиночества, когда ты ясно отдаешь себе отчет, что так одиноко может быть только с тобой и ни с кем не хочется об этом говорить. Да и не с кем.

И однажды наступает такой миг отчаяния, что он начинает исповедоваться тому, что видит, окружает его. Он начинает с ними молчаливый диалог, лишь бы поскорее облегчить свои страдания. Потом спохватывался, вспоминал о единобожии и думал: «Как велика в нас власть пещерного человека! Сильнее, наверное, только

гравитация, ее притяжение и бездушное обладание. Боль порождает растерянность, и люди спешат вымолить спасение в молитве, а когда это не помогает, становятся философами. При этом не все признаются, что атеисты. Стесняются греха минутной слабости?»

Временами ему начинало казаться, что не с ним приключилось это непоправимое горе, да и то лишь на короткое мгновение, сейчас этот кошмар прекратится. Вновь возвращалось щемящее чувство утраты. И уже не оставляло, словно исподволь, но жестко и безжалостно, приучая к этой мысли, чтобы ранить долго, не давая возможности забывать в суете мелких забот, напоминать постоянно о себе, не примиряя, с каждодневным существованием. Раздражающим бытом, сразу ставшим плоским и огромным, как пустынный и неопрятный берег океана во время большого отлива.

Тогда он понимает, что это и не жизнь была вовсе, а лишь ожидание, преддверие чего-то простого и ясного. Пожалуй, самого важного, конечный смысл прихода сюда, пребывания среди других людей. Тогда то, чем он был отвлечен, кажется уже незначительным эпизодом, временной необходимостью, которую надо просто перетерпеть, выждать, и наступит самое главное — они снова будут вместе. Это будет наградой.

Как сильно в нем в последнее время возникала временами эта жажда — вновь оказаться вместе. Должно быть, от нереальности желания. Огромного, граничащего с безумием, вне времени, внутри какого-то другого, неведомого прежде пространства, заполнившего все уголки его сознания. Молчаливого и беспредельно опасного пространства, где каждый шаг может стать последним, невозвратным, погружая в трясину безвременья, оставляя один на один с безграничным ощущением горя.

Тогда приходит ясная мысль, что смерть однажды из стопроцентной вероятности превратится в стопроцентную реальность.

Это лишает его покоя. Он понимает запоздало, что невниманием обижал жену, но она была деликатной, не подавала вида. И в оправдание он убеждает себя, что в каждом человеке дремлют разные ипостаси: шуты, террористы, умники, рохли, злодеи и добряки, гении и маргиналы, поэты и сонные тетери. Знать бы, кто из них сейчас явится миру. А проблема в том, что раскаяние в нанесенной обиде, боли, равнодушии и невнимательности приходит не в одно и то же время к обидчику и обиженному. И когда это непоправимо, ранит особенно больно.

Если бы он стал говорить об этом вслух, его сочли ненормальным, и он предпочитает молчать.

Осторожно поцеловал фотографию. Бережно поставил на столик у кровати.

Жена умерла в январе. Ей было за пятьдесят, она моложе его на два года. Они так странно познакомились в супермаркете. Он вдруг вызвался ей помочь, много смеялись. Они тогда много смеялись. И через три месяца, к обоюдной радости, обвенчались. Это было так естественно тогда.

Он почувствовал жажду. Налил в стакан из кувшина на столике, выпил с наслаждением прохладной воды. Особенно вкусной из целебного источника неподалеку. Он понял, что именно этого хотел, давно, с той самой минуты, когда решил прилететь сюда.

Вышел на балкон, глубоко вдохнул ночной воздух. Со склона открывался красивый вид на ночной город внизу. Всемирно известный курорт, знаменитая минеральная вода, целебные источники. Ночная прохлада, свежесть в горах. Город с трудом остывал от дневного зноя. Казалось, что над домами, улицами, деревьями колеблется горячее марево. Растекается вязкой темной массой. Она искажает, смещает контуры, очертания, лишая четкости рисунок ночного неба, огней, жемчужин звезд, красот юга. Над всем распростерлась и царила духота. Она накрыла город в долине невидимым покрывалом, под которым трудно дышать и невозможно уснуть. И к этому нельзя привыкнуть, можно лишь подпитываться горячим электричеством солнца, от которого нет спасения даже ночью. Лишь искриться от переизбытка электричества. Совершать глупости от излишней энергии, настоящей на запахах экзотических растений, терять голову и пребывать в особенном состоянии.

Должно быть, поэтому любовные романы на юге особенные. Но они его не интересовали.

Разноцветные огни никогда не спящего курортного города. Маленькие угольки тут и там — вокруг, словно большой костер, потрескивая, раскидал их, вместе с искрами на склоны гор. Они разлетелись хаотично из долины, чтобы какое-то время тлеть, таинственно мерцать и гаснуть ночью один за другим.

Он долго смотрел на это завораживающее зрелище.

Приезжал сюда на две недели, во второй половине августа. Много лет подряд. Ему нравился здешний терпкий воздух. Он был

на пять-семь градусов прохладней, чем в долине. Тишина. Тень в горах пахла лесом, звучала невидимыми птицами из глубины и прятала тайну.

В городе он быстро уставал от горячей пыли, раскаленного асфальта, жара, стекающего со стен домов, смога множества машин и праздной, бестолковой суеты туристов со всего мира. Одинаково похожих в этой суетливости и желании фотографировать все и вся.

Странно, но именно здесь, в горах, он не чувствовал себя одиноким. Может быть, впервые с января. Злого и ключого. Иногда ему вдруг начинало казаться, что это был неожиданный укус коварного существа с длинным сложносочиненным названием — «январьмесяц».

— Труп — плод смерти в сердцевине гроба, — подумал тогда.

Он понял, что однолюб. Стало горько от прозрения, пустоты внутри, от того, что ничего нет. То же небольшое, что было, так неожиданно ушло, просочилось сразу между пальцев и исчезло. Навсегда.

Он ужаснулся.

С кладбища он с друзьями пришел в небольшое кафе неподалеку. Вспоминали, говорили вполголоса. Он никак не мог согреться и, возвращаясь к тем первым, страшным минутам, с которых начал реальный отсчет потери, всякий раз испытывал озноб, будто вновь стоял в тишине среди высоких деревьев старинного кладбища, белых наметов глубокого снега...

Он зябко поежился, понял, что очень устал с дороги, и принял душ. Долго стоял под струями воды:

— Переход в сон похож на парение в утробе. Почему я вспомнил об этом в старости? Готовлюсь к «последнему» отпльятию?

Глянул еще раз в окно, на звезды: «История Вселенной началась с невиданного по масштабам теракта. Выжившие счастливчики много столетий ищут организатора, исполнителя и изучают последствия. И уходят, уходят в смерть, в физическое небытие, так ничего и не узнав как следует».

Растянулся без сил на прохладной постели. Сломленный усталостью, убаюканный немолчным звоном цикад, далеким собачьим лаем, уснул.

Она пришла под утро. Прокралась неслышно. Принесла в комнату острый тревожный запах, который он ощутил во сне.

Он вскочил, переполошился. Что-то закричал в гневе, но словно еще пребывая в зыбкой замедленности сна, не контролируя себя, вышвырнул ее на лестницу.

— Как чудесно пахнет в этой комнате. Необыкновенно, — только и успела подумать она.

Это было неожиданно. Она скатилась кубарем по каменным ступенькам и в первое мгновение не поняла, чем именно стукнулась в узком проходе крутой лестницы — головой, плечом? Короткая вспышка в темноте и вместе с обидой пришла сплошная боль. Все произошло очень быстро. Несколько кувырков.

Она молча встала, отряхнулась. Ушла к себе, пошатываясь. Ее слегка подташнивало. Может быть хорошо, что она не сгрушировалась во время падения, а была расслабленной, не готовой к удару.

Он лежал, смотрел сквозь неплотно задвинутые жалюзи на звезды. Одна выделялась особенно, была крупнее на фоне несметного количества других. Пульсировала, переливалась искристо сине-зеленым, белым светом, на темном ультрамарине неба и было ощущение, что это летит к земле межпланетный корабль. Он подает сигналы, предупреждает о скорой встрече.

Почему он так резко, неожиданно враждебно отреагировал на приход незнакомки? Его возмутило тихое коварство незваной гостьи? Почему он не кинулся следом, чтобы помочь?

Что-то не складывалось в привычном окружении, в нем самом, удивляя и настораживая. Неужели он так ожесточился, зачерствел, погруженный в горестное оцепенение и мысли о неизбежности смерти? Стал молчалив и сосредоточен... на чем?

Однообразные, унылые мысли теперь всегда были с ним, даже если он отвлекался на другие дела, мог чему-то улыбаться, сделать вид, что спорит, увлечен. На самом деле ему было безразлично то, что было снаружи.

Чем они оригинальны, унылые гости его отчаянного одиночества — мысли? Глубокие? Какие новые законы он открыл в результате мучительных поисков? В себе, в других?

Скромность — соотнесение себя с внешним миром, людьми, обстоятельствами. Это как карта, на которой не указан масштаб, но без нее легко заблудиться.

Основная масса людей не любит и боится действий, еще больше последствий этих действий. И лишь немногие, редкие люди боятся скуки как безопасного способа ничегонеделанья. Если скука похожа на полет над пустотой, можно при приземлении больно коснуться тверди, а если она напоминает вялое, безвольное скольжение по поверхности, то кто-то может наступить и уничтожить.

Он — клерк в большой компании, успешно двигался по карьерным ступенькам. Поднялся над остальными. Значительно выше общей планки. Сам, без корпоративных связей, упорным трудом добивался успеха:

— Успех может быть убийственным, потому что это самая болезненная форма падения. И правильнее сказать — бездна успеха, а не вершина.

Он подумал сейчас, что всегда был гордым, даже высокомерным. И еще, как оказалось — злым, несдержанным. Куда подевалась терпимость, которую воспитывали в нем набожные родители?

Отец... Он так часто бывал в отъездах, что если и придет во сне, то сын его не узнает. Мама — мягкая, немногословная, прилежная прихожанка...

Они вложили в него много сил. И с детства внушали негромко, но методично — это сделано не так, а это — не то... отбили у него охоту быть искренним с ними, в результате он сделал простой вывод — лучше лишний раз промолчать. Позже это умение выдержать паузу было знаком солидности, неспешности в принятии решений, особым талантом и очень помогало в карьерном росте, ценилось руководством разных уровней.

Это не вызывало ревности коллег, да и богов — тоже.

И оказалось, что все это так неважно, второстепенно!

После смерти жены он стал другим. Даже не предполагал, что это так сильно его изменит. Был удивлен, не готов к такой перемене и обескуражен. Он замкнулся в себе и не пускал туда никого. Даже единственную любимую дочь. Разве что внучку привозили к нему в гости ненадолго. Она так была похожа на умершую бабушку, его жену, что ему эти общения давались мучительно.

Он словно застыл в каком-то внутреннем студеном оцепенении и редко выходил из этого состояния. Ему не хотелось новых, может быть, светлых потрясений, знакомств. Других женщин, которые бы вошли в его жизнь, привнесли в нее прежние ощущения,



прибавили обычных забот о ком-то близком совсем рядом, готовом разделить с ним остаток пути. Он не пытался что-то предпринять, чтобы кардинально изменить такое положение вещей, и постоянно пребывал во власти грустной печали. Она стлыла в нем угловатой глыбой с того памятного январского, короткого дня, так и не растаявшей до сих пор.

Он перебирал в памяти тот день, и он казался ему одним бесконечным истязанием.

Вкрадчиво засветлело небо. На его фоне стали заметны резкие, быстрые промельки летучих мышей. Первые петухи напомнили о том, что время движется по своим законам, а они лишь стража возле башни, на которой громадные часы двигают вселенские стрелки:

— Сон и бессонница это как кнопки «вкл.» — «выкл.» для наших эмоций и страстей. Человечество делится на спящих, бодрствующих и бодрствующих во сне. Независимо от того, кто они — совы, жаворонки, голуби, звери лесные, пресмыкающиеся и земноводные.

Он плавно погрузился в сон.

Утром яркое солнце осветило комнату. Таинственно и необычно, словно сон еще продолжался, а он стоял на пороге дня, ослепленный желтой лавиной теплого света. Шуршали, ступая по крыше, горлицы, о чем-то негромко и деловито гурковали, словно внутри тишины складывали хрупкие шарики стеклянных звуков, звонко пели петухи.

— Господи, — взмолился он, — исцели меня от вечной печали!

Заставил себя подняться. Быстро умылся, глянул в зеркало — не выспался, лицо расстроенное и озабоченное. Вспомнил ночное происшествие.

Перед завтраком пошел на прогулку, к источнику, хотя и чувствовал себя еще более усталым, чем вчера после прилета и долгого пути в горы.

Шел узкой лесной дорогой под кронами высветленного леса. Смотрел, как карабкаются вверх по склону большие плети ежевики. Попытался сорвать несколько крупных ягод. Больно, до крови исцарапался и жестоко обжегся крапивой. Кожа на руках запылала:

— Чем слаще ягода, тем труднее до нее добраться.

Ронял на обочину колючие «ежики» каштан. Он вспомнил сладковатый привкус жареных каштанов, сглотнул слюну.

В просветах деревьев виднелись по склонам редкие дома под красными чешуйками черепицы. Узкие окна-бойницы горных хи-

жин. И всюду камни, нагромождения камней среди сочной зелени. Горы аккуратные, словно в прибранном чистом домике навели порядок. Тщательно, с любовью обставленное жилище для жизни и защиты от опасностей. Крепость в миниатюре. Стены домов каменные, много вкраплений из кирпича и, кажется, несколько поколений собирали их, укладывали тщательно, надолго, подгоняя друг к другу по одному. Если есть возможность, они не спрячут его под штукатуркой, оставят полюбоваться. Они любят очаг, семью, детей. Украшают жилища, двор цветами, растениями. Много зелени и деревьев.

Горы причудливо изрезаны дорогами. Они добротные, продуманно укреплены. Все жилища соединены со всеми другими, с большим миром за перевалами. Пропадает ощущение оторванности от внешнего мира. Может быть, поэтому и у него исчезает в этих местах ощущение одиночества? На что они похожи, здешние дороги? На камень, проточенный тонкими ходами очень давно, миллионы лет тому назад, какими-то неизвестными, трудолюбивыми существами? Изредка ему попадались такие серые, нездешние камешки на морском берегу.

Нет! Скорее это похоже на муравьиные тропы! Их множество во дворе дома, где он поселился, не сосчитать. Плотным строем, неустанно двигается муравьиное войско. Вечером двор польют водой, их унесет на камни вниз, а утром опять будут упорно идти строем муравьи. И так каждый день.

За этими мыслями он старался забыть досадное происшествие, хотя бы уменьшить их остроту, представляя будущую встречу с ночной гостьей. Раздумывал, как тактичнее переговорить об этом с хозяином, и стыдился своего поступка. Наверное, хозяину все уже известно, надо было поговорить с ним перед прогулкой и не томить себя неопределенностью. Ведь рано или поздно это придется сделать.

Внизу был большой дом, на узких террасах росли оливы, сад с плодовыми деревьями.

— Цветки граната напоминают красные юбки Кармен, — подумал неожиданно.

Сзади послышались требовательные сигналы авто. Он оглянулся. Серебристый «Мерседес» занял всю ширину дороги. Спереди, виновато опустив голову, стояла ночная гостья. Оказывается, все это время она тихонько кралась за ним.

Громко ругался водитель в белой майке с короткими рукавами, махал волосатыми, загорелыми до черноты руками, требовал,

чтобы она освободила дорогу. Господин ускорил шаг. Не оглядываясь, слегка задыхаясь, он панически убежал к источнику. Торопился и думал: «Может быть, после того, как я спустил ее с лестницы, она сильно ударилась, случилось легкое помешательство? Она так странно себя ведет».

Подставил руки, освежил лицо прохладной влагой, старался не думать о возможных тяжелых последствиях, хлопотах, связанных с этим.

Присел на скамейку в тени. Легкий ветерок приятно освежал лицо. Что-то нашептывали листья. Большая улитка медленно, почти незаметно стекала по влажным камням. Шумела вода, рассказывала что-то.

— Вода на жарком юге бежит радостно и звонко, колокольчиком спасения. На Севере шумит отрезвляюще и настороженно, в ней может таиться погибель.

Мимо промчался «Мерседес». Сердитый водитель что-то обиженно кричал за стеклом, не разобрать. Господин вежливо улыбнулся. Пожал виновато плечами.

Никого не встретив, он вернулся домой. Прогулка взбодрила, усталость притупила остроту переживаний, он почувствовал голод. Выпил дома крепкий кофе. Сидел за столом один, размышлял.

Пришел хозяин. Господин что-то удрученно говорил про ночное происшествие, мрачнел, с трудом подыскивал слова, понимая, что в последнее время ему все больше хочется быть одному, легче думать и все труднее говорить, что-то объяснять другим. Он становится нелюдимым.

Он замолчал.

Хозяин согласно кивал головой, не дождавшись продолжения, заговорил:

— Она такая красивая, но немного... странная. Да, именно — странная. Это было после вашего отъезда, в прошлом году. Зимой. В январе. Странно, как я не заметил. Сдавал задним ходом и просто вдавил ее в снег. Хорошо, что он оказался глубоким, шел несколько дней. В горах зимой так бывает. Ограничилось все небольшим переполюхом. Вы не едете в город? — спросил вдруг, заметив, что его не особенно слушают.

— Нет. Стараюсь реже там бывать. Он меня быстро утомляет, — ответил Господин, подспудно пытаясь понять, что-то важное в том, что услышал.

Хозяин вышел. Господин не поверил его рассказу: «Успокаивает, — решил он, — рассказывает небьлицы, боится потерять хорошего клиента».

Поднялся к себе в комнату. Услышал, как гулко заработал двигатель. Машина задним ходом двигалась к воротам. Сдавленный вскрик. Резкий, ужасный и непоправимый — последний. Он выбежал на балкон.

Она лежала на дороге. Бесформенная и некрасивая. Белоснежная и безжизненная — болонка.

«Какая же у нее кличка? — неожиданно подумал он и вдруг вспомнил — Крошка?»

Он вернулся в комнату, спрятал в чемодан фотографию жены. Во дворе громко, безутешно, раздражая, плакал ребенок, не мог смириться с утратой.

— Как однообразна повторяемость боли. Лишь наше воображение, эмоции сообщают ей оттенки и цвета безумия. Всякая уродливая аномалия, ненормальность так возбуждают наше любопытство. Должно быть, в этом кроется притягательность жизни!

Внизу работал телевизор, красивый мужской голос страстно пел песню. Он прислушался. Часто повторялось слово «аморе, аморе»:

— Любовь — болезнь. Сколько создали шедевров пациенты этой «клиники»! Почему нет ни одного шлягера про онкологию? И столько горькой прозы!

---

**Валерий Петков** — прозаик, публиковался в альманахах «Белый ворон» (Россия — США), «Согласование времен» (Германия), «Зеркало жизни», член Международной ассоциации писателей и публицистов. Живет в Риге (Латвия).

## МАГИСТР

*Городу Даугавпилсу*

### Пролог

Тринадцатый век. Америкой еще не пахнет. В Европе набирает силу куртуазный стиль. Кольшутся в учтивых реверансах трубадуры. В своих романах Бертран де Борн, Кретьен де Труа возносят рыцарей за то, что, опоясавшись мечами, во время передышки меж галантных приседаний, они свершают подвиги и посвящают их прекрасной даме. Но! Это там, где солнце выше, где теплее...

### I

А здесь, поближе к Северу,  
на гребне — святость. Во славу  
Непорочной Девы,  
под знаменем Христа  
Ливонский орден жаждет просветить  
восточного соседа.  
Взамен  
прибрать к рукам земельные угодья,  
проще —  
рыцарство нацелилось схватить Восток  
за горло.

## II

И вот — матерая река.  
Вверх по течению рыщет конная разведка.  
Прыть редкостная. Примечают место.  
С точки зрения фортификации,  
оно подходит идеально.  
Магистр,  
безжалостный, искусный воин,  
хоть и костистый, сверхсутулый  
(по недосмотру в детстве выпал из седла,  
а конь был смирный, но! — слуги, слуги...  
Мир праху нерадивых).  
К слову,  
с тех пор, с молодых ногтей верховный привыкал  
надеяться лишь на себя и  
вместе с тем не брезговать почетом,  
не домогаться дружбы. Безмерно властный,  
он  
все же внял совету звездочета:  
«Пока твоя звезда Арктур (созвездье Волопаса)  
в апогее, правильной — в зените,  
без промедленья возводи береговую крепость».

## III

Итак, все дело в них,  
все дело в крестоносцах.  
В той обморочной мгливой дали  
не видел свет такой резни!  
Мой пращур плакал перед смертью...  
Несносно для ливонца кануть вслед за ним,  
и все же канул вслед за смердом.  
Удача переменчива.  
Чередовались лица, орды,.. империи.  
Лишь неизменны оставались  
камни,  
русло Даугавы  
и крепость...

да вот еще, пожалуй, ящерики.  
Их юркие тела на брустверах,  
на валунах фортеции  
вполне закономерны, жаль, не воспеты.  
Но иногда...

#### IV

...в начале осени,  
когда предутренный туман  
становится почти что осязаем: вязкий, волглый, —  
когда, пугая сторожей  
и в дальнем перелеске  
упражня волчью осторожность, нет-нет и всхлипнет  
выпь в прибрежных камышах,  
сюда, к подножью бастиона, являться стал  
нездешний человек — горбун.  
Он говорит,  
что так горбатят спину сложенные крылья,  
что  
позабыл вкус лакомств и еще что  
он поэт.  
И, правда, знобким голосом,  
напоминающим утробный звук волынки,  
читает сторожу безумием пропахшие стихи.  
Одно из них:

#### V

Меня зовут Арктур.  
Я у истока. И больше не скажу:  
«Не покидай меня, душа».  
Я здесь, где ты, где звезды тают утром.  
Я был магистр.  
Стал ловчим снов, стал пастухом  
среди необозримых патсбищ.  
Там, где пасутся звезды и не гаснут,  
места много больше.

И все же, я — созвездье Волопаса  
сменял бы радостно на строгий пост  
медового и яблочного Спаса.  
И здесь, в низине, возле крепости  
мы  
вместе бы тогда пасли:  
я — ящериц, а ты — улиток,  
что несравненно легче,  
чем стеречь речных стрекоз.  
Раскосый ангел стал бы приносить нам мед  
в лиловых ноздреватых слитках.  
А после трапезы  
вдвоем  
(так было бы сподручней)  
при незначительном усердии,  
с ничтожной долей риска  
мы  
смогли бы сыскать — извечно тайное,  
неуловимое, как тень степного мотылька, —  
чтобы в дальнейшем мастерски взлелеять  
сокровенное.  
Я много повидал.  
Я видел, как в больное зеркало  
глядится мальчик мраморный у входа  
в преисподнюю.  
Я там бывал. Там первый раз сказал:  
«Не покидай меня, душа».  
Но в поисках бесплодных  
гармонии  
мир разбивался об меня.  
Я распадался вместе с ним на острова.  
И в свой черед  
меня дробили реки и каналы.  
Я становился глух и нем.  
Слепыми делались глаза,  
как жерло старого потухшего вулкана.



Я говорил: «Не покидай меня, душа», —  
и сызнова я жил,  
вновь опускался в ад.

Я видел там, на дне ущелья,  
умирала пирамида и вместе с нею письма,  
хранящие разгадку... Я начал их читать.  
Лениво колыхаясь, подползла змея.

«...не покидай меня, душа...»

Изида,  
женщина с воловьей головой,  
богиня волшебства,  
хранительница мертвых —  
спасла тогда.

Но время шло.

Я превращался из охотника в добычу, я говорил:  
...не покидай меня, душа...

И снова в мир я прорастал,  
как семена с пометом птичьим.

И вот я здесь. Я у истока.

Мой арсенал, прими магистра.

## СЛОВАРЬ

*Л.*

переведи меня со словарем  
твоей любви на певчее наречье  
где раннего рассвета канарейка  
соперница бессонных соловьев

где днем сирени белой маляры  
рисуют облака в аквамарине  
где вечером ненастно смоляным  
гроза кинжалит лес непримиримо

где в полночь лунной пряжей оплетен  
наш дом и в тишине невероятной  
услышишь — если выйти на веранду —  
как с шорохом пионы разворачивают  
бутоны словно фокусник — платок

пусть говорят указы главарей  
что мы как камни непереводимы  
чтоб сквозь века не перепутать имя  
закладкою в небесном словаре  
оставлю над странюю нелюдимой  
сосну в слезах грядущих янтарей

## Август. Вариации

### 1. Закат

А вереск по-прежнему так фиолетов!  
В нем пчелы вчера лишь довольно гудели.  
Вновь август. Сочится по капельке лето.  
Ты видишь — устало оно в самом деле.

И тихо — как будто кого отпевают...  
Но сердцу не хочется думать об этом!  
Осенней отравы глоток отпивает  
природа, еще увлеченная летом.  
Как роща редет, как рдеет рябина!  
В иголки стволов паутина продета,  
и щедро окрасил дорожную глину  
прощальный закат уходящего лета.

Не хочется верить, что осень скрывает  
под маскою пестрой ухмылку злодея.  
Кузнечик еще торопливо играет...  
Но август уже отравленье содеял...

### 2. Сад

Пряными флоксами вечер чернильный пропах,  
Яблоки падают белыми пятнами.  
Небо неровное, тучи — как панцири черепах.  
Плачется сердцу, годами измятому.

Темно-зеленые ночи прохладны, как мятная карамель.  
Точит бессонница — зубом расшатанным.  
Кариес в жерновах покосившейся мельницы перемен.  
Памяти пес, весь в репьях, возвращается.

И до утра чешет волосы длинные ива над самым прудом.  
Лес обнесен паутинами росными.  
Ветер альтистов ретивых удерживает с трудом.  
Август — антракт перед оперой осени.

Лебеди — к югу, рябина, тревожа, красна к холодам.  
Осень сгоревшей весной оплачена.  
Друг, не кручинься, со мной не случилась беда.  
Просто погода такая, что плачется.

### **3. Крыжовник**

какое время напряженное  
и все-таки в начале августа  
свари варенье из крыжовника  
пожалуйста  
чтоб в каждой ягоде янтарной  
дремали лучики лесные  
чтоб сладкие как струны арфы  
за ложкой вслед тянулись нити  
как в детстве  
где царила бабушка  
на кухне в месяцы варенья  
где начинались буквы азбуки  
и двор был мировой ареной  
с кустами страхами и битвами  
бытьем на крышах голубиных...  
ах время медленной кибиткою  
увозишь ты моих любимых!  
.....  
стоят деньки такие желтые!  
прошу без повода и даты  
свари варенье из крыжовника  
надеюсь я что все ж когда-то  
иссякнут времена изжоги  
сойдемся к чаю с облегчением —  
к беседе с привкусом крыжовника  
и улыбнувшись вспомним Чехова

### **4. Дождь**

Дождями кончается лето. Как пленник,  
с балкона смотрю на залитый газон.  
Набычась, ненастье идет в наступление —  
намерился пасмурный гарнизон

затеять осаду садов и беседок.  
Как бусинка — глаз воробья в бузине.  
И первые листья в холодном бассейне.  
И в воздухе — терпкий акцент божоле!

Дождь шумно садится в забытые стулья,  
прозрачной накидкой беспечно шуршит.  
Стрекозы — под листья, и пчелы — по ульям,  
за пазуху прячется белка души...

Довольно мне влаги твоей бескорыстной,  
ах, август, умерь свой несносный азарт!  
Как будто учения артиллеристов,  
за лесом — последняя лета гроза.

## 5. Ожидание

Поспешный август наших жизней длится.  
С утра густой туман в полях пустых.  
Не станем омрачать тревогой лица,  
хоть грусть настырно пальцами хрустит.  
Прощанье губку сердца выжимает.  
И нет на связке летнего ключа.  
В ненастьях тот успешней выживает,  
кто знает цену солнечным лучам.  
Какие ярмарки и сеновалы  
устроивал июль бессонный нам!  
И ласточки иголками сновали  
и бисер пришивали к небесам.  
Но выцвели ромашки на обоях.  
В чертах рассвета — нити серебра.  
Мы ждем, как долгожданную свободу,  
вторженье золотого сентября.

---

*Юрий Касянич — поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей Латвии, соучредитель Балтийской гильдии поэтов. Родился и живет в Риге.*

## СЕВЕРНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

Лысые скалы облизаны волнами.  
Волны ленивы, сонливы на солнце.  
Солнце глядит на спокойное море  
и на деревья, фигурой нестройные,  
что не желают протягивать ветви,  
скромно к стволам сиротливым прижатые.  
Солнце невесело в этих краях.

А заштормит — и деревья пригнутся,  
трогая землю в молебном поклоне.  
Редкий листочек в смятении выдержит  
шквальный удар безрассудного ветра.  
Шторм беспощаден к уставшим, но с истовой  
верой прильнувшим к граниту корням.  
Будет ли шторм для деревьев последним?  
Их не спасает ни мох, ни расщелины.  
Солнце не хочет на это глядеть  
И поспешает уйти восвояси.

Где-то Земля, может быть, на слонах,  
здесь же она на трех льдинах покоится.

## ИСТОРИЯ ДУБОВОГО СТОЛА

Массивный дубовый стол с резными ножками был немолод. Лак на темно-красной столешнице потрескался, и на ней выступили старческие трещины-морщинки. Стол жил в этом доме давно. Лет шестьдесят, а может, и больше. Точно стол не знал, ведь считать он не умел. Да и какая, собственно, разница? Главное, что он прожил всю жизнь в одном доме.

Хозяин привез его в дом сразу после войны. Время было тяжелое, и хозяин долго копил деньги, пока заказал у известного в городе столяра-краснодеревщика большой дубовый стол. Мастер удивился, зачем молодому человеку столь необычная вещь, и тот рассказал, что видел такой дубовый стол в немецком имении, где в 45-м стояла их пехотная часть. И хозяин (тогда он еще не был хозяином) решил, что у него непременно будет точно такой же стол и за ним будет сидеть его семья — жена и дети. Много-много детей. Правда, ни жены, ни детей в то время у хозяина не было и быть не могло — он ушел на войну в восемнадцать.

Когда стол был готов, хозяин нанял телегу и привез его в маленький дом на окраине. Так стол оказался в доме хозяина, и другого дома он не знал. Хозяин жил один, родителей его во время войны расстреляли немцы.

В молодости от стола исходил аромат леса, который не мог заглушить даже лак. Хозяин с удовольствием вдыхал запах свежего дерева, и стол был на седьмом небе от счастья. Дело в том, что он боготворил хозяина. Стол знал: хоть и создал его мастер-краснодеревщик, но на свет он появился только благодаря хозяину.

Первые годы за столом собирались друзья-фронтовики. Они вели длинные беседы, о чем-то горячо спорили, читали стихи запрещенного тогда Есенина, а по праздникам пели военные песни.

Но однажды осенью, когда воздух был ломок и тонок, как стекло, на стол надели парадную белую униформу и наставили закусок и бутылок больше обычного. В тот день гости кричали «горько!».

Так в доме появилась хозяйка. И хотя она ухаживала за столом, вытирала пыль и укрывала мягкой скатертью, он сразу невзлюбил ее. Почему? Стол не раз задавал себе этот вопрос и не мог найти ответа. А ответ был прост — он ревновал хозяина к жене. Но стол не хотел даже самому себе в этом признаться.

Шло время. Осень сменила зима, зиму — весна, а летом, когда с тополей стал падать пух, у хозяина родился первенец. Стол видел, как счастлив хозяин, и тоже от всей души радовался. Вида, конечно, не подавал — характер у него был сдержанный и невозмутимый. В отличие от шкафа, что недовольно скрипел в углу по всякой пустяковине. Стол сразу невзлюбил брюзгу, хотя тот оказался родственником — шкаф тоже был дубовый. Но шкаф жил в доме давно и потому на правах сторожила постоянно помыкал и поучал юный стол. А кому понравятся старческие нравоучения?! К тому же стол чувствовал — шкаф вообще тип ненадежный и может предать хозяина в любой момент. Откуда появилось эта убежденность, стол не ведал, но тем не менее она росла с каждым годом.

Но если старого ворчуна шкафа стол недолюбливал, то кровать, на которой хозяин спал с женой, он просто ненавидел. Нет, это была не ревность, как к жене. Нет, стол действительно ненавидел эту блестящую хромом, самодовольную красотку. Пусть у вас не сложится впечатление, что стол был женоненавистником. Нет-нет и еще раз нет! К этажерке, что скромно прижалась к стене, к табуреткам на кухне, к полочке над этой развратницей кроватью стол никаких претензий не имел. Тихие скромные девушки. Но на кровать он не мог смотреть спокойно! Бездушное железное чудовище, похотливая мерзкая тварь!

Стол пуританином не был, шумным застольям всегда радовался, ведь он тогда оказывался в центре внимания. И потому звон бокалов для него звучал лучше самой прекрасной и мелодичной музыки в мире. Но одно дело веселые гулянья, танцы и песнопения, а совсем другое то, что вытворялось на этой металлической красотке! Он чувствовал деревянным сердцем — кровать преподнесет хозяину неприятный сюрприз. И оказался прав.



Это случилось, когда хозяин народил уже троих детей. После первого сына Игоря через три года появился второй — Валерка, а еще через пять лет дочка Оленька. Игорь в то время заканчивал семилетку, а Оленька только пошла в первый класс. Надо сказать, что хозяин очень любил дочь, и в отличие от сыновей баловал чем мог. Стол тоже души не чаял в девочке. Мальчишки они и есть мальчишки, что с хулиганов возьмешь?! Старший один раз на спор умудрился воткнуть в него перочинный нож. Не то чтобы глубоко, не то чтобы было очень больно, но стол долго не мог упокоиться. Он, конечно, простил мальчишку (ведь это сын хозяина!), но относился к ребятам с опаской. Другое дело Оленька, ну, просто ангел! С малых лет она заботилась о столе — вытирала его мягкой тряпочкой, при этом приговаривая нежные слова. И где, крошка, их только находила?!

Так вот, как только дети ушли в школу, заявился начальник хозяина. Тип, прямо скажем, неприятный, толстый такой, с маленькими сальным глазками и потной лысиной, которую он вытирал клетчатым носовым платком. Раньше стол видел толстяка всего два раза — на праздник Великой Октябрьской революции и на Новый год, а тут он приперся среди бела дня, когда хозяина нет дома! Мало того, жирный боров достал из рыжего портфеля бутылку десертного вина и коробку шоколадных конфет. Хозяйка засуетилась, усадила гостя за стол и достала из буфета бокалы синего стекла, любимые бокалы хозяина. Толстяк торопливо наполнил бокалы вином и стал что-то любезно плести, обращаясь к хозяйке. Та фальшиво конфузилась, а сама тянула руку к бокалу. Стол, который любил застолья, на этот раз был крайне недоволен. Как он хотел бы сбросить бокалы на пол! Но это было не в его силах!

Выпив вина, толстяк самодовольно крикнул и принялся нагло лапать хозяйку за арбузную грудь и пухлые бока. Та вяло отталкивала волосатую руку, называла начальника «нахал» и «проказник» и при этом гоготала, словно выпила не бокал, а целую бочку. Когда толстяк стал слюнявить хозяйке шею мокрыми губами, стол с надеждой подумал, что она наконец отбреет наглеца. Но она поступила очень странно.

Стол перестал что-либо понимать! Хозяйка почему-то закатила глаза в потолок, глубоко задышала, точно пробежала с полными сумками до рынка и обратно за десять секунд, и начала ласково гла-

дить потную лысину толстяка. А потом, потом они улеглись на столь нелюбимую столон мерзавку-кровать! Дальнейшее стол не мог вспоминать, не краснея от гнева и стыда. Хорошо, этого никто не замечал из-за толстого слоя лака на его деревянном теле. Металлическая по-таскуха любезно приняла хозяйку и начальника в свои мягкие объ-ятия и скоро развратно заскрипела, как намазаная телега.

Неизвестно чем бы это безобразие кончилось, но в дверь постуча-ли. Хозяйка проворно соскочила на пол, спешно привела сбитое пла-тье в порядок и стала заталкивать перепуганного толстяка в шкаф. Вышло это крайне неудачно и даже комично. Стол еле сдержал смех. Так как штаны у неуклюжего ловеласа почему-то оказались спущен-ны, ноги заплетались, и он умудрился пару раз грохнуться и разбить нос до кровавой юшки, пока добрался до спасительного шкафа.

Сбылись худшие предположения стола — шкаф оказался под-лым предателем! Действительно, он гостеприимно и любезно при-нял в свое пронафталиненное нутро толстого начальника. Старый подхалим! Стол готов был провалиться от стыда за родственника!

Так стол получил наглядное подтверждение догадкам, что они с хозяином живут в доме среди подлых и лживых личностей. Он отдал бы все, только бы открыть любимому хозяину глаза на происходя-щие, но стол был нем от рождения.

А время неумолимо ускоряло бег. С годами пристрастия у сто-ла изменились. Если раньше ему нравились шумные застолья, когда на праздники к хозяину приходили многочисленные друзья и род-ственники, то теперь он больше ценил тихие семейные обеды. И он был центром маленького близкого круга. Стол знал — дети хозяина его любят, особенно Оленька. И очень это ценил.

Первым из дома уехал старший сын хозяина Игорь. Он поступил в Бауманское училище и перебрался в общежитие. Домой Игорь так и не вернулся, и с тех пор стол видел его только наездами, в гости. Да и то редко. Второй сын, Валерка, учился в речном техникуме, но с третьего курса его за драку отчислили. Пошел в армию, служил в Прибалтике. Там после армии женился на литовке и остался жить в Литве, в городе Паневежисе, где работал шофером. Когда Валер-ка приехал в гости с женой Алдоной и двумя детьми, сыном и дочкой, стол был сильно удивлен. Валерка очень изменился, повзрослел, но стал какой-то чужой, а ведь стол знал его с ма-

лолетства. И еще стол ровным счетом ничего не понял из разговора гостей между собой. Говорили на каком-то тарабарском языке и, только общаясь с хозяином или его женой, переходили на нормальный. При этом Алдона слова выговаривала странно и неправильно, а Валеркиных детей так вообще не понять. Столу было обидно, что хозяин не мог толком поговорить с родными внуками. Хотя он и без слов нашел с ними общий язык. Такой уж человек хозяин! Недаром стол боготворил его!

С родителями жила только младшая — Ольга, любимица хозяйна. Она тоже уехала учиться в пединститут, но на втором курсе вышла замуж, забеременела, учебу бросила, через год развелась и приехала с ребенком в отчий дом. Хозяин очень обрадовался ее возвращению, чего не скажешь про его жену. Маленькая внучка ее раздражала, и помогать дочери она категорически отказалась. Мол, сама нагуляла, сама и крутись, а она свое отнянчила, слава Богу, троих вырастила, теперь может и для себя пожить. Ольга часто ночами плакала, столу было очень жалко девушку. Но чем он мог ей помочь! Помогал дочери хозяин. Тогда и начались раздоры с женой. Они давно не ладили, уж кто-кто, а стол знал это лучше других. Но если раньше хозяин ради детей мирился с нравом жены, терпел, то теперь дошло до разрыва. Вопрос решился окончательно, когда хозяйке прямо с неба свалилось наследство — двухкомнатная квартира в Киеве аж на самом Крещатике. При разводе хозяйка потребовала солидную денежную компенсацию, так как «халупа» ей была без надобности. Хозяин продал, что мог, влез в долги, но с бывшей женой рассчитался сполна.

Теперь они жили втроем — хозяин, Ольга и ее дочка Вера. Ольга так и не вышла замуж, работала на текстильной фабрике, очень уставала, но ночами больше не плакала. Видно, слезы у нее кончились, но столу все равно было ее очень жалко. Однажды, когда Ольга возвращалась со второй смены, ее сбил лесовоз. Насмерть. Потом выяснилось, водитель, их сосед Витька, был пьяный и Ольга в темноте не заметил. Витьку осудили, дали пять лет.

Хозяин после смерти дочери очень сдал, постарел лет на десять, и левая рука стала плохо слушаться. Но нужно было поднимать внучку, и фронтовик держался из последних сил. Вера училась в школе хорошо, и столу нравилось, когда она садилась за него делать письменные задания. Вера напоминала столу свою мать Ольгу, которую он любил. Эту любовь стол перенес и на Веру.

После школы Вера поступила в столичный университет, а после получения диплома вышла замуж за программиста и уехала с супругом в Соединенные Штаты. Вначале посылала хозяину письма, общалась, что у них все о,кеу, оба работают по специальности, взяли в кредит дом и нулевой «кар». Но скоро письма прекратились, ведь теперь пользуются не обычной почтой, а электронной, а у хозяина компьютера почему-то не было, и e-mail-ов ему не пошлешь.

Для стола настали самые счастливые времена — хозяин был постоянно дома, и стол мог вдоволь наслаждаться его обществом. Столу особенно нравилось, когда хозяин садился на стул и раскладывал на нем фотографии детей и внуков и долго рассматривал их слабыми слезящимися глазами. Он ощущал теплоту рук хозяин, и не было для стола ничего приятнее на свете.

Так они и жили. Стол даже стал терпимей относиться к металлической вертихвостке-кровати. Ведь и она уже не первой свежести, хром с ее спинок давно облез, матрас прогнулся, и стол прекрасно понимал, что никакая косметика не придаст ей прежнего блеска. Годы свое берут, как не хорохорься. И хотя старый предатель-шкаф скрипел и ворчал еще больше, стол и на него более не держал зла — что вспоминать старое, ведь всю жизнь прожили вместе. К тому же, хоть и дальние, но родственники.

Последнее время хозяин почти не вставал с кровати, а однажды так и не проснулся. В доме появились чужие люди, они помыли хозяина и надели на него выходной костюм с боевыми орденами и медалями той далекой войны. Принесли в дом деревянный ящик и поставили его на стол, а в ящик положили хозяина. Стол хорошо чувствовал хозяина, ведь их разделяло только дно этого ящика. И что-то подсказывало столу, что более хозяина он не увидит. Потом в доме появились сыновья хозяина. Валерка приехал с женой Алдоной, она растолстела и была в два раза больше своего супруга. Игорь прибыл один. Стол вначале его не узнал — еще бы, столько лет не виделись, а потом вспомнил, как он по малолетству воткнул в него перочинный ножик, и стол чуть не рассмеялся, что было совсем неуместно.

Ящик с хозяином погрузили на машину и куда-то увезли.

Через несколько дней в доме появилась хозяйка. А стол-то думал, что больше никогда ее не увидит. Хозяйка позвала людей

в грязных ватниках, и они стали выносить все во двор — этажерку, полочки, табуретки. Стол из окна видел, как им ломали старые потрескавшиеся ножки и кривенькие бока и бросали в огонь. Ему было жалко этих невинных девушек, а впрочем, каких там девушек — старых отживших свой век теток, но он-то их знал молодыми и задорными. Потом выбили стекла-очки интеллигенту серванту, выбросили книжки и тоже отправили в огонь. Дошла очередь и до ворчуна шкафа. Так как он не проходил в дверь, старика изувечили кувалдой и вынесли по частям.

Настал черед стола. У него абсолютно не было страха перед смертью — стол не видел смысла жить, если нет хозяина. Да и кончина на костре так прекрасна и романтична — отдав тепло людям, превратиться в сверкающие искры и улететь в синее ночное небо к звездам!

Когда ему ломали ноги, он не почувствовал боли.

Одного стол не мог понять: за какие прегрешения их казнят? Ведь они служили верой и правдой, и хотя он не любил хозяйку, но ее секретов хозяину не выдал? А шкаф-предатель так вообще ее покрывал. Стол прожил всю жизнь бок о бок с людьми, но так и не понял их.

— Хорошо горит рухлядь! — шмыгая носам, сказал рабочий, что помоложе.

— Ясное дело, дуб! Дерево благородное! — прикуривая от ножки стола, констатировал другой.

И только развратницу-кровать не предали казни на костре. Ее сдали в металлолом.

---

*Евгений Зелло — поэт и прозаик, автор романов «Кривая магистраль», «Два музыканта» и других, член Союза писателей Латвии и Международной ассоциации писателей и публицистов. Живет в Риге (Латвия).*

## ИСТОРИЯ КОЗЫ

В то время в деревне о телефоне знали понаслышке. Хотя в кабинете председателя сельсовета повесили на стенке какой-то аппарат. Его никто не видел, потому что председатель закрыл кабинет с телефоном наглухо. Сам перебрался в соседнюю комнату, жалуясь, что «никтолы нэ знаеш, колы ця зараза зазвонить, тилькы людэй лякае». Только спустя какое-то время в сельсовет взяли секретаря и кабинет с телефоном открыли. А пока что, если надо было что передать на словах, посылали ребятишек. Одним из таких посыльных был шестилетний Павлушка — он никогда не перевирал поручения, передавал все точно. У сельчан имя Павлушка стало нарицательным. Если надо было сообщить о чем-то родственнице, живущей на другом конце улицы, говорили, что надо бы послать Павлушку. Или наоборот — о чем-то узнавали, значит, побывал Павлушка. Родители мальчика смирились и только просили, чтобы не засылали ребенка на другие улицы. Когда поручений никаких не было, мальчик играл на улице с ребятишками. Иногда за услуги его угощали яблоком или куском пирога.

Сейчас Павлушка целеустремленно шагал по улице, не откликаясь на призывы мальчишек поиграть. И когда пацаны злобиво крикнули ему вслед: «Пашка-почтальон», он только досадливо отмахнулся локтем, припустив в беге. Тетя Настя поручила ему сбежать к бабе Александре и бабе Олесе, они жили рядом. И передать им, чтобы те шли к тете Насте, притом срочно, не дожидаясь вечера.

Павлушка, запыхавшись, остановился перед Александрой и, безбожно шепелявя из-за отсутствия передних зубов, проговорил:

— Тетя Настя просыла, щоб вы йшлы до нэи зараз жэ, нэ ждалы вэчора. И щоб взяли з собою Мыколу и всех, хто е в хати.

Проговорив это, мальчик развернулся и побежал через дорогу к старой Олесье. Ей он передал такое же приглашение.

Старая Александра, зайдя в дом, крикнула:

— Катю, Мыколо! Збырайтэся, йдэмо до свахы Настуни в гости! Прыбыгав Павлушка. Олеська зи свимы тожэ идэ. Та гарнэнько одягайтэся, щоб нэ булы гирши людэй. А ты, Мыколо, чоботы хромови почысть ваксою, щоб блыщалы, а збэру кошовку. Трэба взяты яець, сала. Хвалыть Бога, вжэ е що взяты.

Николай, начищая до блеска сапоги, напомним:

— Мамо, нэ забудьтэ горилкы взяты!

Александра сноровисто уложила все в новенькую, сплетенную из камыша кошелку, из уголка которой торчало горлышко бутылки, повязала поверх повседневной юбки цветастый фартук и обратилась к дочери:

— Катю, достань из скрыни билу тэрнову хустку! Щэ ни разу нэ закутувала. Нэхай люды бачать, що мы тэж щось маемо!

Катерина быстро собралась. Цветастый платок был ей действительно к лицу, и они все втроем вышли во двор. Олеська со своими двумя дочками, также празднично одетыми, ждала их на улице и сразу же задала вопрос:

— Свахо, а що за баль у Настуни серед тыжня в середу? Можэ, день ангэла?

Александра по родственной линии была ближе для Насти, чем Олеська, поэтому авторитетно сказала:

— Щоб там нэ було, алэ якщо клычэ людына, то й пидэмо. Посыдымо, поспиваемо, повзэслымся. Дождалыся такого часу, колы можэмо соби цэ дозвольты!

Процессия торжественно направилась вдоль улицы. Александра и Олеська, не доверяя никому (чтобы не побили яйца), несли кошелки с угощением. Две внучки Александры — Анютка и Еля — пристроились сзади, стараясь соразмерить свои шаги со взрослыми. Настя жила недалеко, поэтому минут через пятнадцать остановились у ее двора. Там уже стояла небольшая группа таких же разряженных гостей, у которых побывал Павлушка. Все вместе стали гадать, по какому поводу у Насти торжество. Никто ничего не знал. Николай по праву близкого родственника открыл калитку и повел всех гостей во двор.

Из-за дома слышалось истошное блеяние козы. У Насти в хозяйстве кроме кур и поросенка была коза, которая, по слухам,

почему-то не давала молока. Гости остановились перед закрытой дверью в дом, удивленно посматривая друг на друга. В это время из-за угла выбежала раскрасневшаяся Настя, увидев пришедших, воскликнула:

— Ну, накинесь! Жывогнэ вжэ голос зирвало, так биднэ крычыть! Идись, та будэмо якость тягты з ямы! — потом, остановившись, окинула всех взглядом и удивленно спросила: — А чога цэ вы так вырядылысь, як на баль? А ты, Мыколо, шэ й чоботы хромови взув! Як жэ ты в них в яму до Дуни полизэш?

Николай, единственный, кто на тот момент понял, в чем дело, ответил:

— Однэ другому нэ помишае! Показуйтэ, титко, куды упала ваша коза, зараз вытягнэмо. А жинкы нэхай на стил готують, та й будэ вам баль!

Николай пошел за угол дома, откуда слышался осипший голос козы, за ним пошли еще несколько человек. С оставшимися Настя делилась своим горем. Сын Андрей во время отпуска приехал на недельку к одинокой матери помочь по хозяйству. Выкопал яму под силос на зиму. Когда уезжал — спешил и плохо ее закрыл. Коза Дуня упала в яму и уже полдня как кричит там. Надо же спасать бедное животное.

В это время коза, увидев обступивших яму людей, замолчала. В ее глазах сквозила совершеннейшая тоска.

Николай деловито осматривал место происшествия — яма была глубокая, стенки крутые, вертикальные. Девочки Анюта и Еля опасливо подошли к краю ямы и бросили Дуне листья свеклы. Один листок накололся на рог, но коза не реагировала ни на что, хотя в ее глазах появилось некое ожидание. Особенно после того, как Николай по лестнице спустился в яму. Старшая Анютка крикнула:

— Дядьку Мыколо, нэ загрязнить чоботы, а то бабуня будуть сварытыся!

Николай ступил на дно ямы, подошел к козе, отцепил листок от рога, почесал козу между рог, отчего Дуня опять жалобно заблеяла. Потом осмотрелся и понял, что по лестнице животное не поднять. Немножко подумав, позвал сестру Катерину:

— Катю, подай-но мэни сюды горилкы з пив стакана. Тут трэба головою подуматы!



Катерина, наклонившись над лестницей, подала ему стакан с выпивкой. Николай выпил, scomандовал убрать лестницу, а в яму опустить и поставить наклонно дверь. Сам он отошел в угол, где стояла коза. Потом потребовал длинную веревку, один конец которой привязал к ошейнику козы, а другой смотал в клубок и выбросил из ямы. Наверху веревку подхватили и после того, как Николай подтолкнул козу на полого лежащую дверь, стали осторожно подтягивать наверх. Дуня не сопротивлялась и вскоре застучала копытцами по дереву. А когда почувствовала под ногами зеленую травку, рванула так, что веревка осталась в руках спасателей, а сама Дуня оказалась в дальнем углу огорода.

Николай выбрался из ямы под громкие аплодисменты, став на сегодня героем дня. Тетя Настя расчувствовалась и, тайком вытирая кончиком платка глаза, радостным голосом провозгласила:

— Дориги гости, отэпэр нэ грих и чарку выпыты! Сидайтэ вси за стил!

Сколоченный из грубых досок стол под старой яблоней был уже накрыт. Все расселись. Во главу стола посадили Николая и тетю Настю — бал начался. Первую рюмку выпили за спасение козы Дуни, вторую — за хозяйку Настю, потом за Николая... Когда стали пить за гостей, кто-то из сидящих спросил:

— Настуню, скильки тоби молока дае твоя коза?

Повисла неловкая пауза: все знали, что коза не давала ни капли молока. Настя, виновато потупив глаза, ответила:

— То хйба держуть скотыну тилькы из-за молока?

— Титко, а дійсно, нащо вы ии держытэ? — на правах родственника спросил Николай.

Неожиданно за Настю вступилась ее ближайшая соседка Евдокия, еще довольно моложавая и бойкая на язык женщина:

— Кому якэ дило, що Настя трымае козу? А що молока нэ дае, то трэба роздоиты, можэ, й дасть. И потом — дарованному конэви в зубы нэ заглядають!

С последним доводом согласились все, потому как знали, что козу оставили соседи.

Полгода назад молодая супружеская пара приехала в село. Они купили домик по соседству с Настей. Приезжие мало обща-

лись с соседями, хотя Настя пыталась было к ним захаивать. Но когда бы ни зашла, муж сидел за столом что-то писал, а жена пыталась управляться по дому — после городской квартиры это было сложно. Настя узнала, что у мужа больной желудок, врачи посоветовали деревенский воздух и козье молоко. Козу они привезли с собой, где ее купили — неизвестно.

То ли не умели ее доить, или же она вообще никогда не доилась, но молока городские жители от нее не попробовали ни разу. Полгода подышали свежим воздухом и уехали, под конец слезно умоляя Настю принять в дар козу. На прощанье сказали, что козу звать Эсмеральда. Пришлось Насте принять дар, но выговорить это замысловатое имя она не могла. Получалось что-то непристойное, и Настя козу никак не называла. Была у Насти соседка и приятельница Дуня. С нею они всегда вместе завтракали. Однажды утром Настя крикнула через забор:

— Дуня! Картопля зварылась, иды снідаты!

Соседка пришла, но за ней стремглав принеслась с конца двора и коза. Сначала, думали, случайность, но коза упорно откликалась на «Дуню», и хозяйка стала ее так называть. Чтобы сгладить неловкость, Настя стала называть соседку Евдокией. Евдокия сначала надулась, потом примирилась и даже приносила козе Дуне угощение в виде баранок.

Дуня была доброго, мягкого нрава. Вреда хозяйству не приносила. Привязалась к Насте и всегда за ней ходила по двору, чтобы та ни делала. Возраст козы никто не знал, да никому и не надо было.

Все это пронеслось перед глазами Насти, пока гости за столом выпивали и решали дальнейшую судьбу Дуни. Двоюродный брат Насти дед Антон посоветовал отдать козу в колхоз, в так называемый «некондиционный загон». Антон работал фуражиром на ферме. В его обязанность входило кормить этих самых «некондиционных животных». Их было немного — овца с облезлыми боками, которую на мясокомбинат не брали, слишком старая, хромой теленок, которого ветеринар надеялся поставить на ноги, и одноглазый козел с одним обломанным рогом. И глаз, и рог в свое время животное потеряло в драке. Определить возраст козла было трудно. Его шерсть торчала длинными, грязными клоками

в разные стороны. На боках козла просвечивали проплешины. В этот загон козел попал в силу своей драчливости. Последней каплей стало то, что он подстерегал школьников, когда те возвращались из школы. Дед Антон дал козлу кличку — Михай. В отместку своему свату Михею, с которым постоянно ссорился.

Антон, закусывая огурцом очередную рюмку, категорически произнес:

— Прыводь, Настуню, завтра зранку козу на ферму. Я з завидуючым договаруюсь. Навищо тоби годуваты всю зыму скотыну, як вона нэ дае молока! Та ще й у яму падае. Добрэ, що мы вси прыйшлы, а сама щоб ты робыла? Козу твою ніхто нэ обидыць, я прыгляну.

На том и порешили. Настя согласилась, подумав про себя, что она может проведывать Дуню хоть каждый день!

Гости расходились по домам, каждый не преминув еще раз напомнить хозяйке, что не стоит всю зиму кормить не приносящую никакого дохода скотину.

Назавтра коза Дуня оказалась в загоне на ферме.

Скучала без козы не только Настя, но и соседка Евдокия. Принесла баранок на случай, если пойдут проведывать Дуню. Но Настя хотела выдержать хотя бы неделю, чтобы не травмировать животное.

Через четыре дня рано утром коза тыкалась рогами в калитку к Насте во двор. Дуня пришла домой. Настя, увидев животное, прослезилась, завела козу во двор. Встреча была радостной и бурной. Соседка Евдокия пришла с баранками.

— Нікуды бильшэ я ии нэ повэду! Коза моя и ніхто мэні нэ указ! А яму я так накрыла, що навить мыш нэ проскочыць. Як знала, що моя Дуня прыйдэ! — убеждала Настя неизвестно кого. Евдокия с нею полностью соглашалась.

Жизнь потекла в обычном русле. Но где-то через месяц Насте показалось, что коза приболела. Она все время лежала, а бока как будто вздулись. Позвала ветеринара. После осмотра ветеринар ошеломил Настю диагнозом:

— Жды, хозяйка, прышлоду! Двое козэнят будэ у твоеи Дуни. А зараз давай ий побильше морквы та бурякив, щоб витамины поступалы в организм!

Через пять месяцев Дуня разрешилась двумя прелестными козлятками. Один козленок по окрасу шерсти полностью повторял козла Михея. После того, как козлята перешли на свой корм, Настя стала доить козу. Молока было вдоволь, и она с гордостью угощала родственников.

## НААНТАЛИ

Август. Девятнадцатое... Полночь.  
В Наантали — гроза.  
Погода — сволочь!  
В Турку — дождь,  
Зудящий, крапомелкий.  
Все кругом как не в своей тарелке.  
Все кругом как торт на грязном блюде...  
Завтра посудачат дома люди,  
О прогнозе скажут что-то колко,  
Ветрено про ветер.  
Но без толку.  
Мне же это важно:  
Как-никак —  
Неважнецки в дождь клюет судак.

## Вторая половинка

Где моя вторая половинка?  
Кто бы знал, как мне она важна!  
Представляю милую картинку:  
Стала бы она мне как жена.  
Мы бы воспылали с нею страстью.  
Ну, а об остальном — уже молчок...  
Как я мог быть с половинкой счастливым!.....  
На крючке так думал червячок.

## **Весна**

Дом построить, имя сыну дать,  
посадить в своем саду черешню...  
Что и говорить — вот благодать!  
Это надо выполнить, конечно.  
Вот ведь дом... ну, ипотеку взять  
и кредиты отдавать поспешно?  
А потом сноха, иль хуже — зять,  
будет есть в моем саду черешню?  
С домом подожду — наступит срок:  
Брать кредит — сейчас мне будет лишним...  
Ну-ка, дайте в руки черенок  
от лопаты — посажу я вишню.  
Но хотя... вот, началась весна.  
Вырастет сама она, вестимо,  
вишня та, черешня иль сосна....  
А займусь-ка я рождением сына!

## **О вечном**

Овечкин не думал о вечном нисколько.  
Овечкина звали знакомые Колькой.  
Поскольку мы с вами его и не знаем,  
Давайте Овечкина звать Николаем.  
Но если Овечкин накроет «поляну»,  
Его окликать будем проще — Колянком.  
Вот только Овечкин сам думал: доколе  
Меня называть будут именем Коля?  
Не мальчик уже — на усищи взгляни-ка!  
Хочу, как на Западе, быть просто Ником.  
Пока размышлял, какая-то сволочь  
Овечкину брякнула: Здравствуй, Петрович!  
— Ну, вот, я — Петрович...  
Как жизнь быстротечна...  
Впервые Овечкин подумал о вечном.

\* \* \*

Смеется Бог  
над нашей суетой,  
Архангелы залиvisto хохочут  
И в бороду хихикает святой.  
Лишь плачут черти:  
Им с утра до ночи  
Приходится свои котлы топить —  
И у бессмертных иссякают силы:  
Не отойти попить и покурить.  
Уф, грешников-то сколько привалило!  
Ну, а народ все без зазренья прет.  
Один, второй...  
Идут полки и роты.  
И только Петр у стареньких ворот  
Вздыхает тяжело:  
— Скучно без работы.

---

*Андрей Карпин* родился в Петрозаводске. По образованию — филолог. Поэт, журналист. Публиковался в журнале «Север», а также в различных альманахах. Автор поэтических книг «Дом, который я строю» и «Время истины». С 1997 года живет в Турку (Финляндия).

## ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ

Венеция, который год  
твой влажный полог распахнет  
веселье сумасбродов.  
Плывут рогатые челны,  
петардами озарены  
морщинистые воды.

Шуты и нимфы голосят,  
рычит зверинец, колятся  
жонглеры и кликуши,  
и власть хмельного торжества,  
как лапы каменного льва —  
на море и на суше.

Слугой для нас отворено  
веселья черное вино  
на пиршестве едином,  
и в маске за одним столом,  
играя шутовским жезлом —  
раб рядом с господином.

Не поднимается с колен  
седой патриций, взятый в плен  
изгибом милой шейки,  
и нежный первородный стыд  
сусальным золотом горит  
на маске белошвейки.



В живородящей пустоте,  
в разноголосой темноте  
над безднами витаем,  
и плещется вокруг меня  
народ зимы, народ огня,  
внутри необитаем.

Как жить в танцующей крови,  
и кто на языке любви  
поет под маской смерти?  
Личиной бурной чехарды  
кружить до Пепельной среды  
на маскарадном свете.

Запретной жизни не продлить  
душе-язычнице. Синклит  
под выщербленной аркой  
провозгласит суровый суд —  
уж розги мокрые несут  
по площади Сан-Марко.

Увидишь позже, чуть дыша,  
как в страхе полетит душа  
на крыльях голубиных  
и что под масками скрывал  
венецианский карнавал,  
Пьеро и Коломбина.

И пепельный священный жест  
тебе на лбу прочертит крест  
осмеянной юдоли.  
Повержен в прах, и светит стыд  
раскаянья... Лишь тихо спит  
Луна на дне гондолы.

---

*Сергей Пичугин* — поэт, лауреат ряда литературных премий, соучредитель Балтийской гильдии поэтов, организатор Международного поэтического фестиваля «Балтийская строфа». Живет в Риге.

## ГЕРОИ И МУЧЕНИКИ

«Три толстяка» — первое крупное прозаическое произведение Юрия Олеши. Написанная в 1924 году сказка увидела свет в 1928. При всей несерьезности обложки этот текст весьма показателен для понимания новой культурной ситуации. Сопреалистическая культура любила героев, героями была наполнена вся советская эпоха.

Сюжет «романа для детей» движется героическими поступками главных персонажей. Революционно настроенные оружейник Просперо и канатоходец Тибул осознанно противопоставили себя власти Трех толстяков; возглавив народные волнения, они рискуют собственной жизнью ради общественного блага. В художественном мире произведения они уже сделали свой выбор, это характеры цельные, героические.

Герой, как известно, — это субъект, способный на подвиг, его система ценностей возвышенна и не ограничивается эгоистическими потребностями. Он превосходит ожидания среднего человека, готов к риску — вплоть до гибели ради достижения своих целей. Таким образом, эстетическая категория «героическое» всегда соседствует с мученическим и жертвенным: «Вал высок, и по ту сторону засели гвардейские стрелки. Никто не выйдет из города, и тех, кто пошел с оружейником Просперо, дворцовая стража перебьет».

Собственно говоря, Просперо и Тибул с самого начала сказки соответствуют двум версиям героического персонажа. Ловкий Тибул одерживает победу за победой над своими преследователями; ускользнув от властей, он готовит дерзкий заговор, в который вовлекает доктора Гаспара и девочку-артистку Суок. Просперо схвачен

гвардейцами; скованный, он посажен в клетку и ожидает казни. Стойко перенося несчастье, оружейник не теряет присутствия духа и в любой момент готов возобновить борьбу. Зная это, Тибул готовит его побег.

Просперо страшен толстякам своей непреклонной волей: «Вдруг все замолкли. Наступила полная тишина. Каждый из Толстяков сделал такое движение, как будто хотел спрятаться за другого. В зал ввели оружейника Просперо».

Доктор Гаспар Арнери и Суок изначально ведут обычный образ жизни. Они занимаются своим делом и являются теми, кого принято называть честными горожанами. Стремление к социальной справедливости, тем не менее, делает вчерашних обывателей противниками власти, когда они оказываются в ситуации выбора между ожидаемым (и, разумеется, безопасным) поступком и откровенным вызовом властным институциям: «В это время, еще дальше, ударила несколько раз пушка. Гром запрыгал как мяч и покатился по ветру. Не только доктор испугался и поспешно отступил на несколько шагов, — вся толпа шарахнулась и развалилась».

Страх, обнаруженный доктором Гаспаром при звуках стрельбы, не мешает ему трижды выступить в роли героя. Первый выход за пределы «среднего человека» доктор Гаспар делает, укрывая Тибула. Тибул становится темнокожим, а доктор — заговорщиком. Впрочем, его поступок вызван элементарной порядочностью — он сочувствует взглядам Тибула и просто не способен донести на него гвардейцам. Эта же порядочность заставит доктора Гаспара начать опасную игру с толстяками, выдав Суок за куклу наследника Тутти. Подвиг описывается в романе без лишних гипербол: «Маленький человек, неуклюже, по-стариковски, двигаясь, вылез из экипажа. <...> Маленький человек вынул из экипажа чудесную куклу, точно розовый свежий букет, перевитый лентами».

Наконец, третий подвиг доктора Гаспара ставит его в прямую конфронтацию с властью — он перестает действовать тайно и публично объявляет свою позицию — в качестве награды за произведенный «ремонт» куклы он просит отменить казнь захваченных властями восставших. Резкий отказ не останавливает Гаспара: «Я требую, чтобы даровали жизнь всем рабочим, приго-

воренным к смерти. Я требую, чтобы сожгли плахи, — повторил доктор негромко, но твердо».

Двенадцатилетняя акробатка Суок во всем доверяет Тибулу, для нее рискованное предприятие по освобождению Просперо кажется естественным и единственно возможным вариантом развития событий. С точки зрения автора, дети, в силу возраста, открыты и честны, их готовность к подвигу отражает природное свойство неиспорченной души. Не случайно продавец воздушных шаров, пытаясь сбежать из Дворца Трех Толстяков, проговаривает фразу: «Мне очень надоели приключения. Я не маленький мальчик и не герой». Суок спасает Просперо, стойко переживает арест и угрозу смерти. «Она розовела от счастья. Она исполнила поручение, которое дал ей ее друг, гимнаст Тибул: она освободила оружейника Просперо».

Кроме главных персонажей носителями героического становятся и второстепенные лица. Героический поступок совершает гвардеец, выстреливший в своего офицера — так он дает ускользнуть народному любимцу Тибулу. Героический статус, с точки зрения горожан, получают прочие военные, перешедшие на их сторону. Нарушают ожидания властей актеры, отказавшиеся восхвалять за деньги Трех толстяков, аресты переводят этих персонажей в статус страдающих за свои убеждения — так героическое переходит в мученическое.

Роман пронизан темой жертвенной борьбы за свободу. Персонажи готовы страдать и погибать ради достижения справедливости. Страх смерти останавливает тех, кто не готов переступить человеческую меру. Сцены восстания сменяются масштабными описаниями павших: «На дороге лежали люди; доктор низко наклонялся над каждым и видел, как звезды отражаются в их широко открытых глазах. Он трогал ладонью их лбы. Они были очень холодные и мокрые от крови, которая ночью казалась черной». Мятежников ждут плахи, но исторический выбор за ними — в финале сказки режим Трех толстяков рушится, лишившись поддержки народа.

В книге вообще важна идея разделения людей в зависимости от точки зрения; есть восставшие, сочувствующие восставшим, осуждающие восставших, активные антагонисты и те, кто хочет остаться в стороне. Последние все равно должны поступиться

нейтралитетом, и читатель видит их зачисленными в один из лагерей. Дама с девочкой в начале романа довольна арестом Просперо: «Они мятежники. Если их не сажать в железные клетки, то они заберут наши дома, платья и наши розы, — а нас они перережут».

Плотники неохотно строят плахи для казни — рошсут, но подчиняются под угрозой наказания плетьюми. Мятежные гвардейцы тычут саблех куклу наследника (мотив — жестокость помещика по отношению к жене и сыну одного из солдат). Откровенно предательскую позицию занимают силач Лапитуп, испанец и директор балагана — они пытаются выдать Тибула гвардейцам. Естественно, враждебны главным героям сами Толстяки и их окружение. Зачастую эгоистические страдания оборачиваются фарсом. Так, под детские крики «ура!» уносится в небо продавец дорогих и потому недоступных большинству воздушных шаров; под хохот толпы башмак с ноги продавца падает на голову учителя танцев. За фарсом скрывается людоедская сущность власти — продавца шаров подают на стол в торте, один толстяк жуе ухо другого, причем это ухо похоже внешним видом на вареник...

Тема жертвы в романе также проявляется как в прямом, так и в заместительном, символическом значении. Смерть в художественном мире вполне вещественна, гибнут мятежники и примкнувшие к ним солдаты, умирает в заточении ученый Туб, бросают тиграм осужденную Суок. Однако в последнем случае обратная замена живой девочки на куклу лишает жертвоприношение силы. Мнимая жертва не принимается хищниками, что ставит точку в падении власти. Антагонисты меняются местами: «Трех толстяков загнали в ту самую клетку, в которой сидел оружейник Просперо».

Представляется, что литературная сказка Юрия Олеши может служить примером культурного кода, носителем которого прежде всего является соцреализм как тип искусства. Следует сразу же оговориться — не только соцреалистические тексты имеют героическое, жертвенное содержание. Для всего советского искусства эта проблематика является крайне важной, вероятно даже — основополагающей. Несомненно, есть много других признаков художественных текстов советского периода, существуют иные константы — можно упомянуть, например, бравурность, оптимистичность интонации, общую направленность на массовое потребление, выходящие за пределы творчества пропагандистские приемы — все это так. Однако

жертвенное, мученическое содержание было воспринято не только истинными представителями соцреализма (например, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Молодая гвардия» Александра Фадеева), но и другими авторами (Михаил Булгаков, Владимир Короткевич, Владимир Высоцкий, Александр Солженицын и др.). Конечно, модернисты и соцреалисты (и не только они) использовали сюжеты трагического толка по разным причинам, в результате же разные в остальном авторы сближались в концептах гибели за правду, за народное дело, за справедливое общественное устройство. Этот факт может быть рассмотрен с позиции диахронии культуры.

Ближайшим предшественником соцреализма следует считать модернизм. Борис Гройс в своей работе «Стиль Сталин» утверждает: «Социалистический реализм создавали не массы, а от их имени — вполне просвещенные и искушенные элиты, прошедшие через опыт авангарда и перешедшие к социалистическому реализму вследствие имманентной логики развития самого авангардного метода, не имевшей к реальным вкусам и потребностям масс никакого отношения».

В определенном смысле с этим положением можно согласиться, разве что нужно выделить специфику соцреалистического художественного сознания. На первом этапе, очевидно, соцреализм складывался стихийно, по законам и логике становления новой картины мира (например, роман М. Горького «Мать» создавался без политического давления на автора). На втором этапе своего развития (30-е гг.) соцреалистическая картина мира была дополнена властной репрессивной составляющей, и вместо решения задач сугубо художественных новое искусство начало выполнять функции эстетического (и не только) контроля со стороны государства.

Генетически же соцреализм восходит к периоду формирования вариантов модернистской культуры; существует ряд общих признаков, среди важнейших из них — структура пространства, в котором были восстановлены вертикальные связи между сферой реальности и желаемым инобытием. Б. Гройс полагает: «Поворот к социалистическому реализму к тому же был частью единого развития европейского авангарда в те годы». И далее: «Совпадают же авангард и социалистический реализм, под которым здесь понимается искусство сталинской эпохи, и в мотивации, и в целях экспансии искусства в жизнь — восстановить целостность Божьего мира, разрушенную вторжением техники, средствами самой

техники, остановить технический и вообще исторический прогресс, поставив его под тотальный технический контроль, преодолеть время, выйти в вечное. Как авангард, так и социалистический реализм мыслят себя в первую очередь компенсаторно, противопоставляя себя «буржуазному индивидуалистическому декадансу», бессильному перед распадом социального и космического целого».

Философскую базу модернизма на Западе закладывает Фридрих Ницше. Провозглашение эры сверхчеловека предполагает отказ от старых канонов культуры, метафорически Ницше обозначает прежнюю, христианскую культуру рациональной, аполлонической и призывает дополнить ее дионисическим порывом. В основе культа Диониса находится трагический миф, умирающий и воскресающий бог Древней Греции меняет свои ипостаси именно в акте жертвоприношения, когда палач и жертва одинаково являют собой божество. В «Рождении трагедии из духа музыки» Ф. Ницше писал: «Да, друзья мои, уверуйте вместе со мной в дионисическую жизнь и в возрождение трагедии. Время сократического человека миновало: возложите на себя венки из плюща, возьмите тирсы в руки ваши и не удивляйтесь, если тигр и пантера, ласкаясь, прильнут к вашим коленям. Имейте только мужество стать теперь трагическими людьми, ибо вас ждет искушение. Вам предстоит сопровождать торжественное шествие Диониса из Индии в Грецию! Готовьтесь к жестокому бою, но верьте в чудеса вашего бога!»

В «Трех толстяках» освобожденный Просперо выглядит как вырвавшийся из царства мертвых Дионис: «В этом блеске, рыжеголовый, со сверкающими глазами, в разорванной куртке он шел как грозное видение. Одной рукой он держал за ошейник, скрученный из железного обрывка цепи, пантеру».

Ф. Ницше присутствует в советской культуре имплицитно. Об этом пишет также Б. Гройс, выделяя ряд родственных марксистской философии положений, среди которых можно назвать критику идеализма, моральный релятивизм и представление о мире как о пространстве борьбы идеологий с целью завоевания власти. Вместе с тем Б. Гройс признает официальное отторжение нищезанятия советской культурой: «К числу таких исключенных из сталинского социалистического канона авторов относится и Ницше, чья непосредственно заявленная враждебность к социалистическому общественному иде-

алу перевесила в данном случае черты, роднящие его с официальной советской идеологией...»

Было бы неверным навязывать соцреализму модернистские ценности, также было бы неправильно выдавать Юрия Олешу за убежденного соцреалиста. Но и игнорировать сделанные наблюдения тоже было ошибкой. Думается, что непримиримые противоречия существуют лишь в том случае, если мы идем вслед за Эдуардом Бернеттом Тайлором, обосновавшим в девятнадцатом столетии стадийную модель развития человеческой культуры. Концепции могут быть различными, они не обязательно противостоят друг другу, иногда допустимо сосуществование — по принципу дополнения. В качестве рабочей версии можно предложить наличие в разных картинах мира (разнесенных во времени и пространстве) однотипных культурных матриц, кодов, которые связаны с функциональными особенностями человеческого художественного мышления и с разной степенью релевантности адаптируются к текущей эпохе. При благоприятных условиях этот культурный код может занять центральное положение в картине мира, при враждебном контексте — скромно расположиться на периферии. Подобно «струнам», пунктир устойчивых матриц стягивает далекие типы художественного сознания. Явлениями такой, «струнной» модели культуры можно считать актуализирующийся время от времени смеховой, пародийный код; другим примером может служить культ ужаса и всяческой готики; не менее значим бывает парадокс и алогизм, наконец, жертвенный код, героико-мученическое поведение субъекта есть тоже признак кочующего культурного сюжета.

Жертвенность была свойственна многим картинам мира, начиная с Античности она играла разную роль, пока не была осознана Ф. Ницше как средство достижения власти. В «Веселой науке» Ф. Ницше указывает: «Приносим ли мы при благо- или злодеяниях какие-либо жертвы, это ничуть не изменяет значимости наших поступков; даже если мы отдаем этому свою жизнь, как мученик ради своей церкви, эта жертва приносится нашему стремлению к власти или с целью сохранения нашего чувства власти». Думается, что советское искусство наследует ницшеанскому пониманию жертвы — в центре соцреалистической коллизии находится классовая борьба, которая предполагает ключевой статус проблемы власти (или, точнее, — смены власти).



Роман для детей Юрия Олеши — это развернутая литературная сказка нового времени; избранный жанр позволяет автору выйти на достаточно чистые обобщения, в русле которых еще несколько десятилетий будет развиваться русская литература.

## КОТ БЕГЕМОТ

О романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» к настоящему времени написано достаточно серьезных и весьма основательных работ. Без претензии на полноту картины в этом тексте речь пойдет о достаточно простой вещи — о сюжетной роли конкретного, отдельно взятого персонажа. Владимир Пропп писал: «Меняются названия (а с ними и атрибуты) действующих лиц, не меняются их действия или функции».

Кот Бегемот — персонаж яркий и запоминающийся. Вместе с тем, на первый взгляд, перефразируя таллинских исследователей И. Белобровцеву и С. Кульюс, не до конца понятна необходимость введения в свиту Воланда этого демона-пажа. Уникальность Бегемота заключается в его оборотнической сущности. Это единственное животное в книге, умеющее принимать человеческий вид, а также действующее вполне разумно, так сказать, с человеческой повадкой, находясь в зооморфном состоянии. Разве что размеры этого существа не вполне кошачьи, что отмечают все, кто видит Бегемота впервые. Так, при первом выходе кота на московскую улицу его наблюдает Иван Бездомный: «Но это еще не все: третьим в этой компании оказался неизвестно откуда взявшийся кот, громадный, как боров, черный, как сажа или грач, и с отчаянными кавалерийскими усами. Тройка двинулась в Патриарший, причем кот тронулся на задних лапах».

В отличие от прочих членов шайки, которые получают второе, истинное свое обличье в финале романа, Бегемот имеет три разных лица — два оборотнических и одно настоящее, абсолютно, к слову, неожиданное — худенького юноши. В этом смысле Бегемот отличается от другого оборотня — борова Николая Ивановича; последний пребывает в образе транспортного средства

короткое время и, в общем-то, случайно подпадает под действие дьявольского морока.

Итак, одной из важных функций кота Бегемота в сюжете романа является его способность шокировать неподготовленного наблюдателя своим внешним видом. Если угодно, Бегемот есть знак безумия, которое посещает всякого, кто близко столкнулся с Воландом и его окружением. Следует, впрочем, оговориться, — рассудка лишаются люди, обнаружившие не самые лучшие свои качества; «официальный сумасшедший» — мастер, напротив, полностью реабилитируется стараниями потусторонней силы.

Находящийся в клинике Стравинского Бездомный пишет письмо в милицию и пыгается зарисовать то, что поразило его больше всего — Понтия Пилата и кота на задних лапах. Именно человеческая повадка животного, умение ездить на трамвае, как законно, с гривенником наготове, так и «зайцем», убеждает Ивана в исключительности происходящих событий. Он сбивчиво кричит, явившись со свечой и иконкой в Грибоедов: «Да не забудьте сказать, что с ним еще двое: какой-то длинный, клетчатый... пенсне треснуло... и кот черный, жирный». Позднее, прыгая на корточках, Иван в лицах будет изображать Бегемота перед мастером.

Предвестием тревожных событий в жизни директора театра Варьете Степы Лиходеева становятся отражения Коровьева и Бегемота в зеркале — этот оптический эффект разрушает надежду как-то объяснить и свою забывчивость, и присутствие Воланда с подписанным контрактом на руках. Физика реального пространства дает сбой: «Что же это такое? — подумал он, — уж не схожу ли я с ума? Откуда эти отражения?!» Вид Бегемота, пьющего водку и закусывающего маринованным грибом, только укрепляет худшие подозрения Лиходеева.

Бухгалтер Варьете, столкнувшись со странным фактом массового гипноза в поющем хором филиале Зрелищной комиссии, немедленно интересуется: «...Кот к вам черный не заходил?» Опасается идти в милицию дядя Берлиоза — Поплавский, ему ясно, что утверждение, будто кот в очках только что читал его паспорт, скорее всего, приведет заявителя в сумасшедший дом. В конце концов, как раз ни в чем не повинные черные коты падут жертвой бдительных граждан после окончания всех событий — с ними борются в эпилоге романа столь жестоко, как будто именно от животного зависит мистическая сила заезжей шайки гипнотизеров.

Действительно, положение кота в свите Воланда определяется обязанностями и правами, свойственными только этому персонажу. Он часто выступает как глашатай, объявляя начало и конец значимых событий. Это обстоятельство можно считать второй важной функцией, которую Бегемот реализует в сюжете. Со времен Древнего Египта кошка воспринималась существом, способным контактировать с земным и потусторонним миром, она находится на грани двух пространств, она страж и свидетель одновременно. Бегемоту доверяется право отдавать команду к исполнению подготовленных акций, при этом создается впечатление, что кот не просто выполняет функцию спускового крючка, своеобразной красной кнопки, но, вероятно, и сам обладает определенной властью воплощать в жизнь фантастические проекты.

«Брысь!! — вдруг рывкнул кот, вздыбив шерсть». И Степа Лиходеев оказывается в Ялте. Следует отметить, что командует Бегемот без явного позволения Воланда — «вдруг», и делает это после почтительного вопроса Азazelло: «Разрешите, мессир, его выкинуть ко всем чертям из Москвы?» Азazelло спрашивает, Бегемот делает.

Представление в Варьете также закрывается по команде: «А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рывкнул на весь театр человеческим голосом: — Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!» Та же ситуация складывается за мгновение до начала бала в квартире номер пятьдесят: «Я, я, — шептал кот, — я дам сигнал! — Давай! — ответил в темноте Коровьев. — Бал! — пронзительно взвизгнул кот...»

Наконец, на Воробьевых горах, сидя верхом, Бегемот просит Воланда: «Разрешите мне, мэтр, — заговорил он, — свистнуть перед скачкой на прощание». Несмотря на то, что свист у Бегемота выходит не слишком сильным — Коровьев доказывает это своим свистом, и, несмотря на финальный трубный клич Воланда: «Пора!», скачка не начинается без хохота Бегемота, как бы дающего последний, завершающий сигнал.

Третья функция кота в рамках сюжета «Мастера и Маргариты» реализуется в бумажно-бюрократическом контексте. Бегемот — секретарь и делопроизводитель в одном лице. Телеграмму Максимилиану Андреевичу Поплавскому в Киев посылает кот, он же, по прибытию дяди Берлиоза в Москву, проверяет документы: «Паспорт! — тявкнул кот и протянул пухлую лапу». Бегемот интересуется отделением, выдавшим паспорт, официально отменяет присутствие сомни-

тельного в его глазах субъекта на похоронах племянника и, пользуясь суконным канцелярским языком, отсылает Поплавского к месту жительства. Не забыв, впрочем, по своему обыкновению рывкнуть в дверь: «Азазелло, проводи!».

Бегемот предъявляет рукопись сожженного романа мастера о Понтии Пилате. «Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой пачке рукописей. Верхний экземпляр кот с поклоном подал Воланду».

В контексте отмеченного совершенно естественным представляется выдача Бегемотом за своей подписью удостоверения Николаю Ивановичу в том, что последний был привлечен на бал сатаны в качестве перевозочного средства. Печать «уплочено» довершает картину.

Интересно, что существуют функции, закрепленные за другими персонажами, которые Бегемот выполнять не может. К примеру, кота не часто посылают куда-либо вестовым. Настоящий посыльный-исполнитель в свите Воланда — Азазелло. Именно Азазелло отправляется на первую встречу с Маргаритой, где роняет: «Трудный народ эти женщины! — он засунул руки в карманы и далеко вперед вытянул ноги, — зачем, например, меня послали по этому делу? Пусть бы ездил Бегемот, он обаятельный...» Но Бегемот — паж, слуга при рыцаре, его без острой необходимости от себя не отпускают. Узнав, что Маргарита разгромила квартиру критика Латунского, Воланд замечает: «А зачем же было самой-то трудиться?» Желая угодить Маргарите, Бегемот просит мессира отпустить его, навеститься к Латунскому. Но это не его сюжетная роль, и порыв пропадает втуне: «Да сиди ты, — буркнул Азазелло, вставая, — я сам сейчас съезжу...» Точно так же, перед отъездом, Азазелло будет послан домой к мастеру — он привезет ему и Маргарите отравленное вино. Кота в такой роли представить себе просто невозможно.

Впрочем, Бегемот отнюдь не домосед. Его четвертая функция как персонажа — разнообразные силовые акции. Черной работы он не избегает. Котообразный толстяк бьет по уху администратора Варьете Варенуху. Примечательно, что, исполняя одну функцию, персонаж дополняет ее прочей своей «специализацией», функции выступают в связках. Например, канцелярская деятельность неплохо уживается с прямым физическим воздействием: «Что у тебя в портфеле, паразит? — пронзительно про-

кричал похожий на кота, — телеграммы? А тебя предупредили по телефону, чтобы ты их никуда не носил? Предупреждали, я тебя спрашиваю?»

Бегемот отрывает во время представления голову конферансье Жоржу Бенгальскому и достаточно небрежно нахлобучивает ее на место. Он же, меня обличье с кошачьего на человеческое, оживляет стершуюся метафору, небрежно брошенную ответственным работником, председателем Зрелищной комиссии Прохором Петровичем, — от человека остается пустой костюм, а самого Прохора Петровича, по его же собственной просьбе — «черти взяли».

Образ Бегемота тесно связан с семантикой пламени. Подается его «огненная» сущность в сниженном, фарсовом контексте — кот не расстается с примусом, из которого в нужные моменты вырывается огонь. Попытка ареста «гипнотизеров» заканчивается безвредной для участников сцены перестрелкой, Бегемот выплевывает на пол самовоспламеняющийся бензин и скрывается в свете заходящего солнца.

Закат, пылающее вечернее солнце — стихия нечистой силы в романе. На закате Воланд и его свита появляются в Москве, в это же время суток все собираются на крыше, перед отъездом. Сжигается лавка Торгсина, горит Грибоедов. В главе «Последние посещения Коровьева и Бегемота» оба персонажа используют при общении с москвичами испытанный прием — они полностью игнорируют сложившуюся социальную иерархию, писанные и неписанные правила, по которым живет перебаламученное недавними трансформациями и потрясениями общество. Москвичей испортил не только квартирный вопрос, они, в большинстве своем, не могут подняться над горизонталью бытовых проблем, их приводит в ужас непонятно на чем основанная свобода поступков Коровьева и Бегемота. Пир в валютном магазине, призывы оценивать писателей не по наличию или отсутствию удостоверений — цель этих манифестаций в том, чтобы зафиксировать несуразности социальных отношений, зафиксировать — и уничтожить локус, отмеченный низменными реакциями связанных с ним людей. Несколько в ином виде, но с тем же вектором приложения силы, шайка действует в Варьете, в конторах города, — будь то масштабная акция либо частная беседа с официальными и не очень официальными лицами.

Пятая функция кота в сюжете книги — шутовская. Михаил Бахтин в своей работе «Рабле и Гоголь» написал: «В этом смысле зона смеха у Гоголя становится зоной контакта. Тут объединяется противоречащее и несовместимое, оживает как связь. Слова влекут за собой тотальные импресии контактов — речевых жанров, почти всегда очень далеких от литературы. Простая болтовня (дамы) звучит в этом контексте как речевая проблема, как значительность, проступающая сквозь не имеющий, казалось бы, значения речевой сор».

Смех как зона контакта — это определение подходит и для описания сюжетной роли Бегемота. В сцене преображения главных персонажей неудачной шуткой о свете и тьме объясняется служба у Воланда Коровьева, Бегемот же, получив новый облик, остается «лучшим шутком, какой существовал когда-либо в мире». Бегемот, по мере развития сюжета, шутит двойко. В полной мере проявляются оба типа комического противоречия — сатира и юмор. Злые насмешки кота вызваны эгоистическими поступками людей, строго говоря, он сам, всей своей внешностью есть одна большая насмешка над так называемым здравым смыслом. То он прикидывается обыкновенным дрессированным животным (беседа Коровьева с Никанором Ивановичем; сцена в гримерной Варьете перед выступлением; само выступление, когда Бегемот участвует в карточных фокусах и, с сантиметром на шее, изображает из себя приказчика дорогого магазина — вплоть до финального выкрика человеческим голосом). Столь же обманчив вид Бегемота во время визита к Воланду буфетчика Сокова: «Перед камином на тигровой шкуре сидел, благодушно жмурясь на огонь, черный котиче». Кошачья тема в этом эпизоде развивается по модели литоты: тигровая шкура — черный котиче — котенок, выданный буфетчику Геллой вместо шляпы. Перед кражей драгоценной подковки Аннушка наблюдает странную компанию, спускающуюся по лестнице, видит и громадного черного кота. Эпизод заканчивается для Аннушки относительно благополучно, — посланный на розыски пропавшей подковки Азazelло сначала едва не придушил женщину, а потом, фиглярничая, отблагодарил Аннушку деньгами.

Юмористическая ипостась Бегемота реализуется исключительно в близком кругу его общения. Он развлекает Воланда

жульнической игрой в шахматы, золотит усы перед балом, прыгает в бассейн с коньяком, наливает Маргарите чистого спирта, поясняя, что даме он водки никогда бы не предложил, — сам же водку пьет, закусывая поперченным и посоленным ананасом. Для того чтобы сгладить неловкость или сбавить тревогу ставшего слишком серьезным разговора, Бегемот готов рассказывать о своих мифических странствиях по пустыне (девятнадцать дней питался мясом тигра), дурачится, соревнуясь с Азazelло в стрельбе (нарочно убивает сову и ранит Геллу), именуется «молчаливой галлюцинацией» и откровенно меняет тему беседы Воланда: «Я еще кофе не пил, — ответил кот, — как же это я уйду? Неужели, мессир, в праздничную ночь гостей за столом разделяют на два сорта? Одни — первой, а другие, как выражается этот грустный скупердяй-буфетчик, второй свежести?»

Бегемоту прощается все. Он настолько свыкается с особым панибратски-добродушным отношением к себе, что чувствует себя польщенным, когда включенный в его близкий круг мастер решает обратиться к нему на «вы». Пронизан юмором рассказ Бегемота о том, как он спасал из пламени Грибоедова семгу и халат. Впрочем, Воланд, хоть и усмехается, слушая отчет Коровьева и кота, но, очевидно, воспринимает их проделки как достаточно важную службу: «Распоряжений никаких не будет — вы исполнили все, что могли, и более в ваших услугах я пока не нуждаюсь. Можете отдыхать».

Если обобщить отмеченные функции персонажа, то, вероятно, основной сюжетной ролью Бегемота можно считать разрушение стереотипа поведения. Всегда (или почти всегда) кот поступает вопреки инерции восприятия его окружающими — такое назначение имеют и его шутки, и опасные для собеседников действия. Нельзя не признать также, что это свойство, в той или иной степени, присуще всей воландовской свите, однако фигура Бегемота представляется повышено агональной; на стыке противоречий (реальных и выдуманных) этот персонаж сводит два мира — времени и вечности, людей и духов, автора и героев его романа. Он — неумолимый страж для низких характеров и добрый привратник для высших — таковых, в современной Москве им было найдено всего два — мастера и Маргариты.

## Основная литература

Бахтин М. Рабле и Гоголь (Искусство слова и народная смеховая культура) // Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.

Белобровцева И., Кульюс С.. Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Опыт комментария. Таллин, 2004.

Гройс Б. Ницшеанские темы и мотивы в советской культуре 30-х годов. Бахтинский сборник. Вып. 2. М., 1992.

Гройс Б. Стиль Сталин. Утопия и обмен. М., 1993.

Зенкин С. Н. Небожественное сакральное: теория и художественная практика. М., 2012.

Пропп В. Морфология «волшебной» сказки. М., 1998.

Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.

---

*Руслан Соколов* родился в Даугавпилсе в 1970 году. Доктор филологии. Автор более сорока научных работ, в том числе монографии о творчестве Вячеслава Иванова. Автор поэтического сборника «1/3» (1999), один из создателей даугавпилсской литературной группы «F.V.» (2000-2005). Стихи, переводы и статьи печатались в латвийских и зарубежных изданиях (Россия, Литва, Эстония, Италия, Канада). Живет в Даугавпилсе (Латвия).



**Геннадий АЛЕКСЕЕВ**

**РИЖСКИЙ ДОЖДЬ**

струится дождь  
по водосточным трубам  
в кофейне сухо  
тихо  
и уютно

струится дождь  
по черепичным крышам  
в кофейне пахнет  
кофе и корицей

струится дождь  
по плитам тротуаров  
по фонарям  
и по телам машин  
в кофейне  
полумрак и безмятежность

не думать о дождях средневековья  
струившихся по крышам старой Риги  
смывавших кровь с дощатых эшафотов  
стиравших копоть с крепостных бойниц

о маске думать  
о гранитной маске  
глядящей с улицы  
в окно кофейни

о маске думать  
мокрой от дождя  
несмотря ни на что  
она улыбается

### **Вечерняя месса в костеле Петра и Павла**

Играл орган.  
Горели свечи.  
Христос в терновом венце  
стоял в нише, обитой красным шелком,  
и не улыбался.

Орган умолк.  
Погасли свечи.  
Церковный служака, весь в черном,  
выкатил на середину  
черный помост с черным гробом  
и скрестил над гробом черные знамена.

Орган молчал.  
Дымились свечи.

Христос смотрел  
на черный гроб  
и улыбался.

Черный служка  
подошел  
к красной нише  
и задернул Христа  
белой занавеской.

Публикация  
**Арсена Мирзаева**

---

**Геннадий Алексеев** (1932–1987) — поэт, один из основоположников современного русского верлибра, автор поэтических книг «На мосту», «Высокие деревья», «Обычный час» и многих других. Стихотворение «Вечерняя месса в костеле Петра и Павла» публикуется впервые.

Людмила ЯКОВЛЕВА

МОЕ ЛИТОВСКОЕ ДЕТСТВО

Воспоминания

Погожий солнечный весенний день. Накануне, как это часто бывает в Прибалтике, шел дождь, а тут распогодилось. Маленький литовский городок. Центральная часть города как бы поднимается вверх, чтобы быть увенчанной католическим костелом. Небольшим, но очень уютным. Сейчас вокруг тишина, только солнечный луч играет на цветных витражах высоких готических окон. Вдруг двери торжественно открываются. Первыми выходят две крохотные девочки в белых кружевных платьицах, с большими корзинами. Они разбрасывают нежные лепестки цветов, по которым без всякого сожаления ступают огромные ботинки двух празднично одетых католических пасторов. За ними несут статую Божьей Матери, а далее — служители с хорутвями и многочисленные молящиеся, среди которых много празднично одетых детей. Девочки с завитыми волосами в кружевных светлых платьицах, мальчики в черных фраках, крахмальных рубашках с галстуками бабочкой. Процессия обходит костел, затем ярко освещенное нутро храма поглощает ее и начинается служба. На все это не столько с удивлением, сколько с непонятным чувством зависти к людям, которых объединяет что-то красивое, возвышенное и непонятное, смотрела девятилетняя девочка в простеньком, сшитом мамой платьице. Это была я...

Корни семьи нашей уходят в волжские степи, но бурные события неспокойного двадцатого века раскидали нас по всей стране и за ее пределы. Родители мои имели большую склонность к перемене мест, и семья постоянно переезжала. Они не имели корней, искренне верили в торжество самых передовых в мире идей, всерьез строили коммунизм и всегда были готовы по зову коммунистической партии поехать туда, где требуются их знания и способности. Весной 1947 года, когда мне было девять лет, родители сообщили, что мы переезжаем в Литву, в город Шяуляй. Предстоящий переезд я восприняла с большим энтузиазмом и радостно воскликнула: «Мы едем за границу!» Но мама разъяснила, что если мы и едем за какую-нибудь границу, то это граница Российской Федерации. Но отчасти я все-таки была права. Даже несмотря на мою молодость и неопытность, приехав на новое место, я сразу смогла почувствовать, что мы попали в другую культуру.

В Шяуляе нам сразу предоставили трехкомнатную квартиру, организованную и обустроенную по западному типу. Здесь было два входа — парадный и черный. Дом был построен до войны. Рассказывали, что кирпичи, из которых был построен наш дом, предварительно проверялись на прочность. Для этого каждую новую партию кирпичей поднимали на высоту второго этажа и сбрасывали вниз. В дело шли только оставшиеся целыми кирпичи. И действительно, осколки снарядов, которые попали в наш дом во время войны, отщипили только штукатурку, не повредив стен.

Дом наш был оборудован добротно, на европейский манер. Холодильников в те времена не было, но к кухне прилегал ледник с полками для продуктов и обитыми металлическими листами поддонами для льда под каждой полкой. Первый раз мы стали жить в квартире с туалетом и ванной. У меня появилась своя комната. Я посещала единственную в городе русскую школу, в программу которой было включено также изучение литовского языка.

Дом наш стоял в самом центре города на главной улице Аусштралее. Весь дом занимали семьи русских офицеров и советских ответственных работников, в том числе и наша семья, ведь папа был прокурором города. Напротив дома была почта, руководитель которой также был прислан из метрополии, мои родители встречались с ним. У входа на почту с каждой стороны были поставлены пальмы, разумеется, искусственные. Наши

окна выходили прямо на эти Палестины, и мы каждый день любовались этой экзотикой.

Направо — площадь, увенчанная памятником советским воинам-освободителям, здесь проходили первомайские парады. А сразу за площадью находились католический костел и католическое кладбище. Это был совсем незнакомый мне мир, полный чудес и мистики, — настоящая «заграница». Следует особо подчеркнуть, что родители мои были юристами, эта профессия в те времена абсолютно не совмещалась с религиозностью. За посещение церкви, крестины, венчание можно было потерять не только работу, но и свободу. В церковь меня бабушка не водила, но как-то на Пасху или на Родительский день она взяла меня с собой на кладбище. Бабушка кормила птичек, что-то рассказывала мне из Библии. Когда мама узнала об этом, в нашем доме был большой скандал.

Однажды я нашла возле церкви порванную цепочку с крестиком на ней. Я боялась даже трогать эту находку. Мне казалось, что таящаяся в крестике неведомая сила может оказать на меня какое-то действие. В летнее время я почти постоянно торчала на кладбище. Здесь мне нравилось все, и я часами бродила между прекрасными памятниками — грустными ангелами и Мадоннами, погрузившись в свои мечты, и доселе невиданные образы рождали во мне странные чувства. Мне было хорошо, на меня никто не обращал внимания. Я забывала обо всем, что осталось за стенами кладбища.

Но особенно меня поразил крестный ход вокруг костела. Хорошенькие дети, с завитыми волосами, одетые как ангелочки, цветы, корзины, полные розовых лепестков, которые разбрасывают дети. А конфирмация! Ребятишки моих лет, одеты девочки — в белые платья, а мальчишки — во фраки. При нашей послевоенной скудости все это выглядело как немыслимая роскошь. Я стала постоянным зрителем и наблюдателем другого, доселе невиданного мною мира.

Папа мой был прокурором города Шяуляя. Я не подозревала, в чем состояла его работа, да и не интересовалась. А папа никогда ничего мне не рассказывал. Хотя я знала, что с мамой моей он делился, я слышала, как они обсуждали все шепотом. Бывали дни, когда папа осуществлял так называемый прокурорский надзор в тюрьме. После этого папа с мамой шептались особенно долго. Как это ни покажется странным, но, проводя репрессии, власти придерживались «буквы закона». Потому на все акции спецслужб приглашался прокурор, так

как, согласно советскому законодательству, и арест, и обыск было нельзя проводить без санкции прокурора. А потому прокурора брали с собой, и он тут же санкционировал все репрессии, проводимые против населения.

В те времена о презумпции невиновности и не слыхали. Разумеется, мои родители были знакомы с этим понятием, обычные же люди и не подозревали об этом. Случалось, что я спрашивала папу, пришедшего после заседания суда и рассказывающего нам о том, какое он просил наказание преступнику как государственный обвинитель и сколько судья дал. Иногда папа сердился и говорил, что адвокат в своей речи просил меньший срок наказания и судья принял это во внимание. Услышав его сетования, я спрашивала, как же мог адвокат выступать и просить за человека, если знает, что он преступник. Папа давал мне сложные разъяснения, из которых я понимала, что суд это вроде игры. Все знают — все это неправда, но продолжают играть, а преступник — всегда преступник и должен получить по максимуму.

Мой папа служил системе подавления свобод в Литве, непосредственно в городе Шяуляе. Сам же он совершенно искренне считал, что проводит политику советского государства на освобожденных землях. Однажды он рассказал, как власти боролись с «зелеными братьями». Литовские крестьяне жили хуторами. Борцы с советской властью обычно держались в лесах. Но им нужны были продукты, помощь в получении информации, в лечении ран и просто моральная поддержка. Если жителей хутора подозревали в сочувствии «бандитам» — чаще всего это были родственники, — на хутор наезжал отряд внутренних войск во главе с местным руководством, хутор окружали, жителям — обычно это были только женщины и дети — давали полчаса на сборы, а затем всех — в Сибирь.

Мой папа был проводником «социалистической законности», так как подобные мероприятия — обыск, депортацию — нельзя проводить без санкции прокурора. Однажды он был похищен бандитами. Милиция и прокуратура организовали поиски и скоро папу нашли. Во время допроса бандиты совали ему в рот дуло пистолета и выбили часть передних зубов. У моего папы до самой смерти были крепкие зубы, но с одной стороны был металлический протез — на золотой у него никогда денег не было.

После войны мама была очень тоненькая и изящная, как тростинка. В той среде, где вращались мои родители, худоба считалась плохим признаком, признаком болезни. Моя мама мечтала быть такой, как все, и поправиться. В 1948 году она родила моего брата Сережу. После родов мама поправилась и была этим несказанно довольна. Когда я училась уже в старших классах, — моя мама к этому времени поправилась еще немного — и мои одноклассники звали ее жирной свиньей. Для меня это было не только весьма огорчительно, но и унижительно.

После окончания послеродового отпуска маме следовало идти на работу, а детских садов в Шяуляе тогда еще не было. Маленькому Сереже нашли няньку. Это была деревенская девушка, хорошенькая, с большими, слегка навывкате голубыми глазами, длинной косой, крепкая и ядреная. Сейчас никак не могу вспомнить, как это мои родители смогли найти в Литве русскую деревенскую девушку. Звали ее Тамара Авенировна Родина. Своей фамилией она очень гордилась. Мама рассказывала целые серии анекдотов про Тамару. Например, мама спрашивает ее: «Тамара, ты суп посолила?» — «Ой, Мария Петровна, замнила!» Но, в общем, она была славной, доброй девушкой, хорошей нянькой моему брату, мы ее любили и держали за члена семьи.

В этот период нашей жизни семья завела собаку. Так как папа всегда считал себя охотником, у него была постоянная мечта о собаке. Рольфа, как мы его назвали, принесли нам крохотным кусочком лохматой шерсти. Он стал расти и расти и вырос в огромного, сильного и добродушного пса. Это была какая-то помесь овчарки. Пес был огромным, имел чепрачную окраску и длинную, густую шерсть. Для меня он был настоящим другом. Я проводила с ним все свое свободное время, с ним я не боялась ничего, так как вид у него был весьма внушительным, за мной он шел и в огонь и в воду. В это время мне смастерили из толстых досок тяжелые санки (в продаже ведь ничего не было, и санок также) и Рольф, впряженный в них, носился со мной по соседним пустырям, которые остались после войны. Летом мы с ним вместе плавали в водоеме на даче — у нас был какой-то участок, где мама выращивала овощи и малину.

Вообще-то ответственным работникам продукты развозили по домам. В переводе на обычный язык это означало спецснабжение. Еще мы с мамой ходили на рынок, и я стояла в очередях за дефици-



том, но было и так называемое спецснабжение. Только тогда от меня это тщательно скрывалось. Но теперь я вспоминаю, что вдруг откуда-то на столе появлялась колбаса, сыр, мясо. В магазине ничего подобного никогда не продавалось. Случалось, что и одежда появлялась откуда ни возьмись. Так было все время работы папы в должности прокурора.

В Литве моя мама занималась возвращением государству выморочного имущества людей, уехавших за границу. Мама много раз рассказывала о том, что у нее была секретарша-литовка, которая одновременно выполняла и обязанности переводчика. Маме неоднократно предлагали взятки за то, чтобы она признала наследниками дальних родственников и присудила бы им выморочное имущество. Она всегда отказывалась, и за все время работы не взяла ни одной взятки. Ее секретарша, согласно рассказам мамы, в этот период смогла изрядно обогатиться и построила для своей семьи весьма добротный дом.

После двух лет работы прокурором города Шяуляя папа поступил в Юридическую академию в Москве. Я простодушно спросила папу, станет ли он академиком после того, как закончит курсы. Папа посмеялся надо мною и ответил, что нет. Это были курсы повышения квалификации работников юриспруденции.

Когда мы собрались уезжать из Шяуляя, родители решили, что мой любимый пес с нами не поедет. Я плакала и умоляла их изменить решение, папа сказал, что кто-то из наших знакомых заберет его. Мы уезжали, оставляя Рольфа на улице, я в тоске и горе обнимала шею своего друга. Приблизительно такая же судьба была у всех собак, которых мы когда-либо заводили.

Мы уехали из Литвы, но вспоминали это время всю жизнь.

---

*Людмила Яковлева — поэт, прозаик, секретарь Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Автор книг «Человек, утративший надежду», «Записки дамы элегантного возраста», «Моих странствий время» и других. Кандидат медицинских наук. С 1991 года живет в Хельсинки (Финляндия).*

**Лидия ДРУСКИНА**

**ПРО БОЛЕЗНЕННОЕ**

**Из записок**

*От публикатора. Лидия Друскина — вдова известного ленинградского поэта Льва Друскина (1921–1990). В 1980 году по причине политических преследований семья Друскиных была вынуждена эмигрировать в Германию. В публикуемых ниже воспоминаниях Лидия Друскина затрагивает один из самых болезненных вопросов взаимоотношений между Россией и Германией — вопрос минувшего противостояния.*

Мама на удивление быстро не то что освоилась в новых обстоятельствах, но приняла их. В первые же два месяца жизни здесь, в Германии, она стала видеть в немцах людей, а не фашистских захватчиков, каковыми они на самом-то деле являлись или по крайней мере были их потомками. Приходит однажды с прогулки по полям и объявляет, довольная, что пообщалась с немцем.

- На каком языке?
- А ни на каком. Он сказал «хунд гут» и спросил «русиш»?
- А ты?
- Я ответила.
- А он?

— Протянул мне руку и сказал «Гитлер капут», а я протянула свою и сказала «Сталин тоже капут». Тогда он плюнул на землю, и я плюнула тоже. Мы рассмеялись и разошлись.

— Романтический диалог, — съязвила я, — главное содержательный.

— А ты уймись, — посоветовала мать. — У него рука крепкая, шершавая, он крестьянин.

Чуть позже меня пригласил к себе один человек. О нас в ту пору много писали и мы были временной достопримечательностью Тюбингена. Я почти успела привыкнуть к тому, что люди нас узнают и заговаривают на улице, поэтому приняла приглашение. Наша помощница Сюзанна отвезла меня в дальний городской район, где все улицы цветочные — Георгиновая, Розовая, Тюльпановая и пр. Бездна вкуса, одним словом.

Дом стоял на отшибе. На калитке имелась табличка «Немец для иностранцев». Старый хозяин представился лингвистом-любителем, показал бобины с записью голосов многих беженцев различных национальностей, поблагодарил за приезд и попросил начитать из словаря на магнитофон все слова на букву «а». Тут я популярно объяснила ему, что все русские слова на этот звук имеют нерусское происхождение. Он несколько удивился и взамен предложил «трудное эр». Заплатил он мне непомерно много, должно быть, «за квалификацию». Ему чрезвычайно понравилось мое произношение, и так как букв в русском алфавите оставалось еще порядочно, мы назначили новый сеанс. Но он сорвался. Оказалось, этот любитель иностранцев — якобы последний еще живой фашист в городе.

Но и с другими немцами тоже было непросто! В домах висят фотографии погибших любимых, старые альбомы полны военных снимков. Да, да, тех самых, которые делались под указателями «На Витебск», «На Смоленск» или на фоне горящих изб с автоматами в руках, или на танках, или на мотоциклах. Смеются в объектив, а новая знакомая объясняет:

— Вот справа второй — мой папа.

Меня тридцать лет раздражают противоречия, а мать как-то сходу врубилась в ситуацию и не мучилась. А ведь у нее в голод умерли отец и сестра, один брат погиб на фронте, другой вернулся инвалидом и муж весь израненный. Но она видела в каждом человека и его боль, а не друга и врага.

То, что она права, я поняла много лет спустя. По телевизору передавали Сталинградскую хронику. Пленные немцы шли по снегам — не шли, еле-еле передвигались. Мы смотрели молча, и вдруг на крупном плане мама застонала:

— Да он свалится сейчас, у него легкие сторят от мороза, он же раздет совсем!

Я никогда не спрашивала пожилых мужчин, в какой стране они воевали, но, к моему удивлению, они сами и охотно, даже чуть ли не с гордостью рассказывали о войне.

Однажды я жутко обиделась на профессора Людольфа Мюллера, друга и отца родного, когда он при мне погрузился в воспоминания о фронте. Происходил разговор в автосервисе, он привез меня туда и мы ждали, когда починят мою машину. Профессора там знали как многолетнего клиента и к нам вышел шеф. Услышав, что я из Ленинграда, шеф любезно произнес несколько исковерканных русских слов, а затем разговор между мужчинами-одногодками плавно перешел вообще на Россию: где, на каком участке фронта, в какое время воевали и т. д. Я сидела, бессловесная, за чашкой кофе и испытывала поочередно изумление, стыд, неприязнь, злость. О боях и победах они не говорили, но никакого горячего сожаления или осуждения в их голосах я не услышала, один оживленный интерес. Поэтому не сдержалась и сказала:

— Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Да, Людольф Людольфович?

Он спокойно кивнул. Для него разумелось само собой, раз мы переселились в Германию, то и принимать ее надо со всеми ее потрохами. Кстати, нас постоянно спрашивали, почему мы приехали именно сюда, не страшно ли нам. Этот вопрос был задан Леве (Лев Друскин. — А.Щ.) в первом же телевизионном интервью. Я приложила руки к груди и взмолилась: можно я отвечу? Здесь не принято перебивать, но журналист только улыбнулся и камеру перевели на меня.

— Один наш ученый друг, физик, — заторопилась я, — занимался исследованиями в институте Макса Планка. Он сказал: «Если вы попадете в Германию, то я за вас спокоен. Немцы надежные, прочные, они держат свое слово: если пообещали, сделают. Они совсем не соответствуют тому стереотипу, который создан у нас. Никакие они не тупицы, и пресловутый их орднунг — классное дело. Он озна-

чает точность и дисциплину. Мне замечательно с ними не только работалось, но и отдыхалось».

Когда переводчик закончил фразу, журналист встал и поклонился.

Вот так, с перебоями в сердце, душе и сознании, я живу в Тюбингене тридцать лет. У меня ненавязчивые доброжелательные соседи, хорошая среднего размера бесплатная квартира (92 кв. м), кусты роз под окнами и убывающее по возрастной причине общество верных немецких друзей, моих ровесников. Но что такое верность по-немецки? Думаю, нашей семье посчастливилось это узнать лучше других иностранцев. Конечно, все дело в Леве. Но вот его нет уже двадцать лет и тех, кто были в первые годы около, тоже нет, а я не оставлена их заботой, не забыта.

После выхода «Спасенной книги», а был это год 1986-й, к нам пришла одна старая дама, спортивная, подтянутая, коротко стриженная, с приветливым, еще красивым лицом, добрыми глазами и очень энергичным рукопожатием.

— Фрау Маер, — представилась она басом. — Я хотела познакомиться, потому что прочитала вашу книгу, дорогой господин Друскин. Почему бы вам не переехать из этого большого дома в маленький и удобный? На нашей улице есть подходящая квартира, мы будем рады, если она вам понравится. Там нет ступенек, потому что партер, нет этого ужасного лифта, нет большой парковки перед окнами. Есть маленький сад, где господину Друскину будет хорошо отдыхать, есть гараж для вашей машины, фрау Друскин. Плата несколько выше, чем здесь, но это легко уладить.

Она недолго посидела с нами и ушла, оставив конверт с надписью «На книги». Мы бросились к телефону, чтобы узнать, кто к нам приходил.

Оказалось, к нам приходила фрау доктор Маер. Знали ее в городе все. Уважением она пользовалась безмерным. Она была председателем окружного суда, после выхода на пенсию занималась строительством нашего района. Но о ней речь впереди.

Переезд состоялся незамедлительно. Фрау доктор Маер взяла его на себя. Она не стала нанимать фирму, а позвонила в «Красный Крест» и целая орава 18-летних поспешила к нам. Они сложили в коробки вещи, весело посадили нас всех, людей и четвероногих, в ма-

шины и выгрузили на новом месте. Вежливо потянулись знакомиться соседи. Пришли и старые, мы ведь никуда далеко не уехали, разве что ближе к лесу.

Фрау доктор Маер опекала нас несколько лет. Иногда опускала в почтовый ящик конверты с одной и той же надписью: «Не благодарить. На книги». Мы виделись ежедневно. Я часто возила ее то в церковь, то на концерт, то на какое-нибудь заседание.

Мы даже к Бруннерам в гости ездили вместе, хоть обе дамы и недолюбливали друг друга, я это чувствовала, а почему именно — не знала. Они состояли в одном и том же Союзе старых ученых, обе одного круга, у них общие друзья, да и мы, подопечные, тоже общие. Но это на поверхности. На деле же фрау доктор Маер и фрау профессор Бруннер были антагонистами. То, что одна прожила жизнь с чистой совестью и ни единый свой поступок не должна была скрывать, стало ясно с самых первых дней знакомства. А вот что другая все послевоенное время жила в напряжении, стало известно через несколько лет после ее смерти.

Одна — несомненная аристократка — была демократична, абсолютно равна со всеми, не делила мир на ученые степени и безграмотных, открывала дверь, не задавая вопросов, кто, зачем и почему в неурочный час. Она просто нажимала кнопку входа и встречала на площадке пришедшего.

Другая — простого происхождения, вжилась в роль великосветской дамы, стала ею. Она величественно принимала избранных, дверь ее дома имела поразившее меня устройство: непрозрачное стекло, но изнутри просматривался в полный рост стоящий у порога. Мне это показалось странным. У других тюбингенских профессоров я таких предосторожностей не видела. Наверное, они у кого-то есть, раз их изготавливают, но не у ученых. Стены книг, старинная мебель, часто музыкальные инструменты, картины, ценности в банковских сейфах, живут себе спокойно. А у Бруннеров и дом-то с улицы не виден, он в глубине сада. Надо еще до двери первый контроль пройти. Но, старые люди, они скорей всего боялись посторонних. Когда они уезжали к себе в Швейцарию, на полу в коридоре оставляли сотенную купюру и записку: «Уважаемый вор, в доме ничего нет. Все в банке». Я посмеялась, что воры могут быть уважаемыми. «Так надо, — серьезно сказал профессор Бруннер, — у них своя психология. Они любят, когда их уважают».

Черт бы побрал меня, слышавшую эти слова! Черт бы побрал профессора, эти слова сказавшего! И известного журналиста, и местную газету заодно! Потому что в ней нынешней весной опубликовано расследование о коричневой молодости выдающегося немецкого египтолога Хельмута Бруннера, того, кто знает воровскую психологию. Может, и не всплыло, если бы управляющий не передал научное наследство покойных супругов университетской библиотеке. Среди прочего там оказался фрагмент Торы, десятиметровый пергаментный свиток — военный трофей, вещественная память о подвиге, совершенном всемирно уважаемым ученым в 1942 году под Ленинградом. Правда, тогда он не был еще ученым. Он был солдат, член НСДАП, т. е. нацист.

А дальше в статье рассказывается про некоторые фальшивые данные в персональной карточке, про запрет на преподавание в университетах и работе в правительственных организациях, про героическую борьбу фрау Бруннер за чистоту имени: ее муж решительно и бесповоротно был противником нацистского режима. Это она много раз говорила и нам. Но вот как опроверг ее слова другой профессор, старый научный руководитель Бруннера: «В гитлеровские годы он превратился в такого нациста, что я и студенты его избегали».

В американском лагере для пленных Бруннера аттестуют как «соучастника», наказание он «шаг за шагом» отрабатывает в Тюбингене, потом он — помощник учителя по древнееврейскому и древнегреческому в одной из языковых гимназий, а вскоре Тюбингенский университет в качестве «шанса на окончательное исправление» предоставляет ему место ассистента в теологическом семинаре, а через год предлагает уже вести курс по египтологии. Прерванная «катастрофой 1945 года» карьера пошла вверх. Бруннер оказался талантливый, очень энергичным, работоспособным, он написал массу книг, стал авторитетом в мировой научной среде. Мы застали его сверхблагополучным и знаменитым 70-летним человеком.

Газетная статья повергла меня в смятение и отчаянье. Я видела столько хорошего от стариков! Бруннеры появились в первый же час, узнав о смерти Левы, они подарили мне автомобиль «Гольф», упомянули в завещании, на полу их ковер, на стенах их гравюры...

Месяца за три до смерти профессор Бруннер позвал меня. «Лиля, за что я так страдаю? Я не сделал никому никакого зла, я делал толь-

ко добро. Но на меня наставили пистолет, и я должен...» Что именно должен, он не договорил — фрау Бруннер была начеку. Но я рассказала об этой сцене Мюллеру. «Ах, — поморщился тот, — никого под пистолетом не заставляли».

Публикация  
доктора философских наук  
**Александра ЩЕЛКИНА**

## Примечания

**Хельмут Бруннер** (1913–1997) — немецкий египтолог, теолог, историк. После окончания школы изучал египтологию и классическую археологию в Берлинском и Мюнхенском университетах, в 1936 году защитил докторскую диссертацию. В 1940 году был призван в вермахт рядовым. Участник Второй мировой войны. В 1945 году оказался в американском плену. Был подвергнут денацификации и запрету на профессию. С 1950 года — ассистент кафедры Ветхого Завета, с 1956 года — профессор египтологии Тюбингенского университета.

**Эмма Бруннер-Траут** (1911–2008) — немецкий египтолог, жена Хельмута Бруннера. В 1937 году защитила докторскую диссертацию на тему «Танец в Древнем Египте». Среди ее главных работ — фундаментальный труд «Древние египетские сказки», впервые изданный в 1963 году.

**Лудольф Мюллер** (род. 1917) — немецкий славист, теолог, историк, переводчик. В 1939 году был призван в вермахт. В 1940 году воевал во Франции. С 1941 по 1944 год — на Восточном фронте в России (группа армий «Центр»). В 1945 году, будучи офицером-связистом танковой части в Италии, оказался в американском плену. Освобожден в сентябре 1945-го. В 1947 году защитил докторскую диссертацию по философии Владимира Соловьева. С 1949 года — профессор славистики Марбургского университета, с 1961 года — профессор славянской филологии Тюбингенского университета.



**Роджер МАКГАФ**

**НО ПРИШЛИ ВАНДАЛЫ...**

\* \* \*

Есть  
фашисты  
такие умнющие  
с интеллектуальным  
глянцем  
точь-в-точь  
людоеды  
отдающие  
предпочтение  
вегетарианцам

**Вандалы**

Сначала  
Земля принадлежала  
Нам — но пришли вандалы.

Они дефлорировали флору,  
Поставили все вверх тормашками  
Своими замашками,

Срубили наши деревья,  
Спалили нашу скамью —  
Твою и мою,  
Набрали камней  
И прогнали тебя прочь.

Сегодня один из них попался.  
Им оказался  
Я.

На днях я должен явиться в суд  
Ответчиком  
По делу о расхищении любви.

### **Дворняга**

когда мы решили жить вдвоем  
я в дом щенка принес  
и пока росла и зрела любовь  
рос ясноглазый пес  
ты кормила его и учила его  
как будто он только твой  
и купала его и ласкала его  
пока он не стал большой

потом ты ушла  
он сделался неуправляем  
то мы скулим то молчим то лаем

девицы похожие как одна  
мелькают туда-сюда  
они гладят его по спине и бокам  
и говорят о да  
но он уже потерял интерес  
к играм прошедших лет  
и когда ему говорят о да  
он говорит о нет

какой-то потрепанный и хромой  
он в кухне сидит у окна  
по ночам начинает выть на луну  
интересно при чем здесь луна  
а тут я еще заметил вчера  
с ним повздорив всерьез  
что откликаться на имя твое  
стал грустноглазый пес.

Перевел с английского  
**Николай ГОЛЬ**

---

***Роджер Макгаф** (род. 1937) — английский поэт, автор стихотворных сборников «Звуки Мерси», «После праздника», «Кабриолет», «Качаясь в поездах» и др. Был участником рок-группы The Scaffold, преподавал в Ливерпульской школе искусств.*

***Николай Голь** — поэт, прозаик, драматург, переводчик. Автор книг «Речевая характеристика», «Наше наследие», «Стихами» и других. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.*

**Беррис фон МЮНХГАУЗЕН**

**МАТЬ МАРИЯ**

Последняя молитва отзвучала  
И прихожан благословил священник.  
Склонились головы послушной паствы,  
Коротким одноперстем осенившей  
Свое чело, уста, а также сердце.  
Опять орган обрушился всей мощью,  
Прошаркали к порталу прихожане,  
И трепетала от прикосновений  
В сосуде освященная вода.

Вот пономарь задул поспешно свечи,  
Что в сумраке тревожно догорали,  
Как будто из пристанища чумного  
Последний постоялец удалялся.  
Безмолвие с печальными очами  
Над потемневшим алтарем повисло,  
Лишь ладана последнее дыханье  
Чуть слышалось под сводами собора.

Подобрала Мария одеянье —  
Так, что ступня немного обнажилась,  
И долу, наклонившись, посмотрела.  
Обняв покрепче спящего младенца  
И краем платья потеплей укутав,  
Она от вышних образов святых  
Спустилась вниз на мраморные плиты,

А там пошла воздушными шагами  
На место за алтарным полукругом,  
Тихонько колыбельную мурлыча.

Был полдень. И над площадью соборной,  
Чирикая, кружились воробьи,  
Звенел девичий смех неподалеку  
И песенка звучала про розарий.  
А между ними мягкими тонами  
Переливалась грусть аккордеона,  
Все повторявшего одну и ту же  
Чудесную мелодию любви:  
«Ах, неужели это так возможно...»

Мария дивной музыке внимала  
И слезы на глазах ее блестели,  
В которых отражалось многоцветье  
Исполненных сиянья витражей.  
Внезапно перед нею засверкала  
Жемчужинка на мраморной плите, —  
С оконного розария, должно быть.  
Печальная улыбка пробежала  
По лику Приснодевы, и она  
Жемчужинку ступнею оттолкнула.

От легкого толчка проснулся мальчик  
И с нежностью к ней ручки протянул,  
И стали мать с младенцем миловаться.

Она в алтарь прошествовала тихо  
И села с краю на скамью резную,  
Где иереи инда отдыхали.  
Привольно ее волосы струились,  
Переплетаясь с лиственной резьбой,  
Топорщилось простое одеянье,  
И радостный румянец мимолетом  
Ее высокого чела коснулся.

Потом она кормила Иисуса.  
Он ручками своими обхватил  
Ее святую грудь, и влажный ротик  
К набухшему прильнул сосцу, который  
Придерживала пальцами она.  
Он пил и пил, помалу насыщаясь,  
Его глаза сияли полным счастьем,  
Когда смотрели на родную мать.  
Она в ответ блаженно улыбалась,  
И взгляд ее мечтательный парил.

И тишина царила в Божьем храме.  
На солнечном окне жужжали мухи  
Да мотылек, случайно залетевший,  
Вдоль рамы крылышками шелестел.  
Лишь чмоканье младенца раздавалось,  
Когда дыханье он переводил.

И тихо вдоль колонн струился ввысь,  
В прохладный полумрак крестовых сводов,  
Еврейской детской песенки напев.

Перевел с немецкого  
**Евгений ЛУКИН**

---

**Беррис фон Мюнхгаузен** (1874–1945) — выдающийся немецкий поэт и фольклорист из старинного нижнесаксонского рода Мюнхгаузенов, доктор права, президент Германской академии поэзии.

**Евгений Лукин** — поэт, прозаик, переводчик. Лауреат ряда литературных премий. Главный редактор журнала «Северная Аврора». Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

Доналдас КАЙОКАС

**CAPRICCIOZO**

полководец устал побеждать но судьба  
была беспощадна — вновь бедняге не повезло  
в знаменитой битве неверия только треть  
рыцарей пала да и те при доспехах отправились  
прямо на небеса продолжая победный рывок  
и не видно тому ни конца ни края

\* \* \*

может больше не стоит окончен бал?  
ты устал? я смертельно устал  
тише тише фанфары трубят  
как для самих себя

полегла вся пехота в рожь  
юный вождь не взнуздает коня  
по глазам он на месяц похож  
по усталости — на меня

\* \* \*

*Памяти Гинтараса Гутаускаса*

а может ты и выиграл между нами  
игра окончена сменились времена  
орлы бывлые стали индюками  
обвисли у газелей вымена

вновь ближе к дому жмутся ловеласы  
стареющим поэтам что еще  
осталось медяки считать у кассы  
да подвигов былых вести подсчет

петь больше некому куда ни обернись  
одни нашли веселье без вина  
другие не нашли по-черному спились  
а третьи — поседели дочерна

**Тоже**

*P.*

он уже не верит что наказание  
будет смягчено в тюрьме играет  
в шахматы просит прислать  
литературу (тоже о шахматах)

не верит но своего положения еще  
не осознает. А мой процесс  
продолжается хотя приговор  
и дураку понятен: старость  
пожизненно  
тоже



\* \* \*

снежный сугроб во дворе и столик  
стоящая у столика женщина  
женщина смотрит на снегиря, снегирь  
смотрит на заснеженный куст шиповника,  
куст смотрит на пинчера, пинчер на меня  
я смотрю на ту женщину  
на ее вздрагивающую спину, странный  
день рожденья

\* \* \*

я осенью умру пробьет четвертый час  
палитра октября приглушена дремотой  
и молча возле дома встанет что-то  
луна? карета? — не скажу сейчас  
лишь осень тишина об этом миге  
я все в своей же прочитаю книге  
когда перед зарей пробьет четвертый час

\* \* \*

все ближе осень благодать  
мне хорошо но жажду знать  
она решится или нет —  
треща палимою травой  
в глаза мне глядя дай ответ  
душа а ты умрешь со мной?

Перевел с литовского  
**Виталий АСОВСКИЙ**

---

*Доналдас Кайюкас* — литовский поэт, прозаик, эссеист. Автор более десяти сборников стихов, книг прозы и эссеистики. Лауреат Национальной премии Литвы. Произведения переведены на русский, английский, грузинский, немецкий, французский и другие языки. Живет в Каунасе.

*Виталий Асовский* — поэт, прозаик, драматург, переводчик, член Союза писателей Литвы. Живет в Вильнюсе.

**Аманда АЙЗПУРИЕТЕ**

\* \* \*

Если в мой дом заглянет Муза,  
отправлю ее в магазин иль на кухню,  
чтобы самой посидеть за стихами,  
она это знает и не появляется.  
Но строчки приходят совсем иначе.  
Письменами росы на листьях розы,  
стихами заката в небе осеннем,  
отпечатками пальцев смерти в зеркале —  
совсем по-другому приходит поэзия.

\* \* \*

Мой белый стих, совсем до белизны  
отмылся он в том городском фонтане,  
с которым рядом престарелый хиппи  
сидит, как древний памятник себе.  
Стишок мой белый, ты куда пойдешь?  
Ведь город черен, он чернее ночи  
и полон рифм и отзвуков. Смотри:  
старик смеяться начал, все вокруг  
ему таким же отвечает смехом.  
Вот зарыдало прошлое. И плачет  
С крылатыми камнями мостовая.  
Стишок мой белый, только у тебя  
Ни в старости, ни в черноте нет эха.

\* \* \*

Тебе оставлю все, в чем есть хоть какой-то прок:  
будильник, книги (продашь их или подаришь),  
тени в углах, что порой развлекают неплохо,  
и четки, купленные в Кербеле.  
Помнишь рассказ мой о том, как по улицам этого города,  
славя аллаха, целыми днями несут гробы  
в мечеть, где могила святого имама Али  
и мертвецы там, должно быть, действительно счастливы.  
Все женщины там в одеяниях черных,  
без плеч, без локтей, без колен,  
одни только черные складки до самой земли,  
ну точно как тени на стенах огромнейших комнат.  
Из черных жемчужинок четок получатся дивные бусы  
Для какой-нибудь нежной и ладной шейки.  
Три чемодана уродливых слов  
И дорожную сумку усталости  
Я забираю с собой.

\* \* \*

Остра твоя нежность, словно щека  
небритая, в горячке поцелуя.  
Темна твоя нежность — как южная ночь,  
в которой шлюхи ищут клиента.  
Горька твоя нежность — как ром или яд,  
опьянение или предчувствие смерти.

\* \* \*

Останься со мной в этой лодке  
этой ночью — ветреной, скользящей.  
Плещется темнота,  
кольцо на пальце утопленника  
сияет как полная луна.

Скоро лето уйдет за горизонт,  
и темнота запахнет  
вином и гнилью,  
как те забытые сады,  
что переполненные плодами  
плывут сквозь столетия.

Еще волнуется лето.  
Еще ничто не может закончиться.  
Лодка случайной нежности  
в глубинах жизни скользит.  
Что бы я ни сказала тебе этой ночью —  
останься со мной.

\* \* \*

Ты останешься в моих воспоминаньях,  
как на коже четырехцветная татуировка —  
с той же болью и упрощенностью линий.  
Морскими волнами из синих точек,  
заколдованным лесом из точек зеленых,  
красным сияньем в закрытых глазах,  
самым черным стихом, который  
можно только огню показать.

\* \* \*

Вечная мерзлота  
над морем детства.  
Мы — птицы с крыльями изо льда,  
С полынью в сердце.

Вьем гнезда свои из сосулек,  
седые перья топорщим.  
И прячемся, когда прилетает  
воспоминаний коршун.

\* \* \*

В осенний день, перед закатом  
явились за арендной платой.  
— За солнце — столько, за песок —  
Вот столько и еще чуток.  
Часы песочные ведь ваши?  
А также за грозу весеннюю.  
И за безветрие. И за цветение.

— Бесплатно умереть дадите?  
— Нет, госпожа. Вот, посмотрите:  
на смерть отдельная есть смета.  
Всего дешевле в списке этом  
лишь сумерки без слов любви.  
И дождь — холодный, долгий, хлесткий,  
чтоб не была земля жесткой.

\* \* \*

Смерть моя в моем доме  
все не найдет себе места.  
Лестница ей крутая  
и слишком жесткое кресло.

Если дождь, моя смерть  
вокруг одиноко бродит.  
И сушит свой черный зонт  
в кафе, что прямо напротив.

На первом снегу, вокруг дома  
следы ее можно заметить.  
Бранятся с нею собаки  
и дразнят жестоко дети.

Сердце весенней ночи  
грызет, словно яблоко спелое.  
Хочу позвонить, слышу:  
в трубку дышит несмело.

Смерти моей в моем доме,  
в общем, не так уж и плохо.  
И сторожить его будет  
она до последнего вздоха.

\* \* \*

На окраине Вавилона идет дождь.  
Чужие языки за дождевой исчезают завесой.  
Красные ручейки струятся по стенам.  
Фундаменты размываются.  
Наш дом построен из руин башни —  
Как у всех на окраине Вавилона.  
На твоём языке я понимаю семь слов.  
Дождь так же щедр и опасен, словно любовь.  
Потоки дождя унесут наш дом  
Прочь от руин общего языка.

\* \* \*

В последнем стихотворении  
На углу Жасминной улицы и Снежного шоссе  
в пятисотом году от полуночи  
я тебя жду.

В последнем стихотворении  
все прощено и забыто.

Снежинкой растаю  
на твоей ладони,  
цветком жасмина  
рассыплюсь на моей  
по ту сторону прощения  
в последнем стихотворении.

\* \* \*

Забывать о типографиях, к словам  
не подпускать надменность черных литер,  
пусть почерк мой, разорванный как жизнь,  
останется навек запечатлен.  
А лучше из исписанных страниц  
сложить кораблики, наделать птиц и бабочек,  
пустить их по ветру, огню или воде.  
Чуть позже все они с почтеньем прикоснутся  
к земле, как пепел, мокрые клочки бумаги  
иль бабочки усталые. А после  
на этом месте вырастет цветок.  
Четыре лунных лепестка —  
мое красивейшее четверостишие.  
Пыльцу подхватит ветер и она  
себе начнет искать другую почву,  
летя по воздуху. И будут люди  
вдыхать неведомый им аромат.  
И в жизни той, где по-другому все,  
меня внезапно с нежностью обнимет  
возлюбленный, что был когда-то  
стихотворением моим.

Перевела с латышского  
**Милена МАКАРОВА**

---

*Аманда Айзпуриете* училась на филологическом факультете Латвийского университета, окончила Литературный институт имени Горького в Москве. Дебютировала как поэт в 1976 году. Кроме собственных стихов выступала как переводчик лирики Анны Ахматовой и Иосифа Бродского.

*Милена Макарова* училась на филологическом факультете Латвийского университета. Лауреат ряда поэтических конкурсов Союза писателей Латвии и посольства России в Латвии. Как переводчик дебютировала переводами лирических стихотворений ведущей латышской поэтессы Аманды Айзпуриете.

### РИГА — МИРОВАЯ СТОЛИЦА РУССКОЙ ПОЭЗИИ

В начале 2013 года Рига стала не просто главным городом Латвии, а еще и мировой столицей, потому что здесь состоялся всемирный конкурс «Кубок мира русской поэзии», в котором приняли участие многие поэты из стран Европы, Азии и Америки, пишущие на русском языке. Присланные на конкурс стихи оценивали высококвалифицированные судьи.

В состав жюри вошли: Галина Климова (Россия) — поэт, завотделом поэзии литературного журнала «Дружба народов»; Денис Сибельдин (Россия) — поэт, редактор «Литературного радио»; Людмила Орагвелидзе (Грузия) — поэт; Сергей Пагын (Молдавия) — поэт; Виталий Асовский (Литва) — поэт, переводчик, редактор литературного журнала «Вильнюс»; Ольга Ермолаева (Россия) — поэтесса, завотделом поэзии литературного журнала «Знамя»; Владлен Дозорцев (Латвия) — поэт, драматург, публицист; Бахыт Кенжеев (Канада) — поэт; Александр Кабанов (Украина) — поэт, главный редактор литературного журнала «Шо»; Семен Каминский (США) — литератор; Сергей Слепухин (Россия) — поэт, редактор литературного альманаха «Белый ворон»; Михаил Гофайзен (Эстония) — поэт; Сергей Пичугин (Латвия) — поэт, президент Балтийской гильдии поэтов; Андрей Коровин (Россия) — поэт, организатор Международного литературного конкурса имени М. Волошина; Дмитрий Легеза (Россия) — поэт, один из организаторов Международного литературного конкурса



имени Н. Гумилева; Елена Рышкова (Германия) — поэт, организатор Международного литературного конкурса «Согласование времен»; Владислав Сергеев (Россия) — поэт, координатор проекта «Большой литературный конкурс»; Евгения Коробкова (Россия) — поэт, журналист, литературный критик ТВ-проекта «Вечерняя Москва» — «Вечерние стихи»; Борис Херсонский (Украина) — поэт; Михаил Дынкин (Израиль) — поэт.

Победителями Всемирного конкурса «Кубок мира русской поэзии» стали: Светлана Чернышова (Большой Камень, Россия) и Александр Ланин (Франкфурт-на-Майне, Германия). Третье место поделили между собой Елена Крюкова (Нижний Новгород) и Елена Фельдман (Иваново, Россия). Специальным призом председателя жюри конкурса была отмечена Майя Шварцман (Дронген, Бельгия).

Сегодня журнал «Северная Аврора» публикует лучшие стихи, отобранные жюри.

**Евгений Лукин,**  
председатель жюри конкурса  
«Кубок мира русской поэзии»,  
главный редактор журнала  
«Северная Аврора»

**Светлана ЧЕРНЫШОВА,**  
Большой Камень (Россия)

### **В БУЛОЧНУЮ**

Храни Господь двух бабушек бумажных  
(и с ними иже всех, кто будет стар),  
Когда они форсируют отважно  
Бурлящий после ливня тротуар.

Когда они плывут в людском потоке,  
Не слышащем, не видящем ни зги,  
Убереги пергаментные щеки,  
Их шелестящий шаг убереги.

На мокрой, скользкой, как стекло, брусчатке  
Листов опавших вдоволь настели,  
Вложи им силы в сухонькие лапки,  
Уменьши притяжение земли,

Притормози «Пежо», чтоб не обрызгал,  
Развей туман густой, как молоко.  
Им до Тебя добраться — близко-близко.  
До булочной треклятой далеко.

**Александр ЛАНИН,**  
Франкфурт-на-Майне (Германия)

### **Одна жизнь Дашратха Манджхи**

Дело было недавно, почти вчера.  
Засекай полвека до наших дней.  
Деревушка в Бихаре, над ней гора.  
И тропа в обход. И гора над ней.  
Путешествие в город съедало дни,  
напрямик по скалам — смертельный риск.  
Вот крестьяне и жили то вверх, то вниз.  
Да и что той жизни — навоз да рис.

Он — один из них, да считай, любой,  
И жена-хозяйка, считай — любовь.  
И гора смолола ее, урча,  
В хороводе оползня закружив.  
До больницы день. Это птицей — час,  
А когда телегой, возможно, жизнь.

Тишина скользнула к его виску,  
прошуршала по глиняному порогу.  
Неуклюже щерилась пасть окна,  
свежесломанным зубом белел восход.  
И тогда крестьянин достал кирку  
и отправился делать в горе дорогу,  
Потому что, если не можешь над,  
остается хотя бы пытаться под.

— Здравствуй, гора, — и удар киркой —  
это тебе за мою жену,  
За скрип надежды по колее,  
бессилие, злость и боль.  
— Здравствуй, гора, — и удар киркой —  
это тебе за то, что одну  
Жизнь мне суждено провести  
в этой борьбе с тобой.

Он работал день, он работал два,  
он работал неделю, работал год.  
Люди месяц пытались найти слова,  
а потом привыкли кормить его.  
Догорит геройства сырой картон,  
рассосется безумия липкий яд,  
Только дело не в «если не я, то кто»,  
и не в том, что «если никто, то я».

— Здравствуй, гора, к чему динамит,  
я буду душить тебя день за днем,  
Ломать твои кости, плевать в лицо,  
сбивать кулак о твою скулу.  
— Здравствуй, гора, к чему динамит,  
ты еще будешь молить о нем  
Все эти двадцать каленых лет,  
двести паленых лун.

И гора легла под кирку его.  
И дорога в город, примерно час.  
Потому что время сильнее гор,  
Даже если горы сильнее нас.  
Человек-кирка. И стена-стена  
Утирает щебня холодный пот.  
Потому что птицы умеют над,  
Но никто иной не сумеет под.

Помолчим о морали, к чему мораль.  
Я бы так не смог, да и ты б не смог.  
Деревушка в Бихаре, над ней гора.  
У горы стоит одинокий бог.  
Человек проступает в его чертах,  
его голос тих, но удар весом.  
Человек просто жил от нуля до ста.  
Да и что той жизни — земля да соль.

**Елена КРЮКОВА,**  
Нижний Новгород (Россия)

**Эмегельчин Ээрен.**  
**Дух продолжения рода**

Черная кошка — ночь —  
свернулась вверху бытия.  
Желтым злым медом текут глаза ея.  
Она запускает когти елей и кедров в тела  
Сладких форелей.  
Горящий ручей течет оттуда, где мгла.  
Земля жжет босую пятку.  
В ночи земля отдает тепло.  
В юрте две жирных бараньих свечи коптят,  
чадят тяжело.

Закрой глаза. Секунда — век.  
Закрой — и уже зима.  
В юрте предсмертно кричит человек.  
Зверем сходит с ума.  
В юрте — стоны, крики, возня.  
В зубах зажат амулет.  
Ноги роженицы, как ухват,  
держат бешеный свет.  
Тот, кого нет, ломает мрак, сквозь родовые пути  
Продирается, сквозь лай собак:  
до холода, до кости.  
Обнимает голову тьма. Луковицу — земля.

Винтись, грызись, — так входят тела в тебя,  
земная зима.  
Зубья красны. Кровавы хвощи.  
Пещера: звездами — соль...

Дави, бейся рыбой, слепни, — ищи! —  
пробейся наружу, боль!

Тебя не ждали на этой земле.  
Тебя не звали сюда.  
Плыви, червяк, голомянка, во мгле.  
Хрустальна небес вода.  
Раздвинулись скалы. И хлынул свет.  
И выметалась икра  
Слепящих планет!

Но тебя уже нет — там, в небе, где звезд игра!

Плачь, мать! Прижимай пирожок к груди!  
Сама месила его!  
По юрте — снега. По юрте — дожди.  
Небесное торжество.  
Ты рыбу жизни словила опять.  
Кто ей приготовит — нож?!  
Ты выткала звездами полог, мать.  
Ты завтра в степи умрешь.

Но сын созвездья твои прочтет  
на черной глади ковра:  
Вот Конь, вот Охотник, вот Ледоход,  
Вот Смерти свистит Дыра.

А в самом зените —  
Кол Золотой отец крепко в мать вбил:  
Чтоб род продолжался его святой,  
Чтоб тяжело качался живот над пятой...  
Чтоб старой елью, слепой, седой,  
Все помнила, как любил.

**Елена ФЕЛЬДМАН,**  
Иваново (Россия)

## **ТАТКА**

Татка, не плачь. Это время такое гнилое.  
Если не мяч, так развод, не развод, так киста.  
Лето — как мачеха: серое, дымное, злое.  
Грязной водой размывает опоры моста.

Татка, я выросла — видишь, какая большая?  
Ноги стоят на земле, голова — в облаках.  
Спит в волосах журавлей перелетная стая,  
И прорастает лопух на немых руках.

Я подержу тебя в теплых чумазых ладонях.  
Здесь не бывает ни ветра, ни мокрых снегов.  
Татка, твой мяч никогда, ни за что не утонет.  
Я эту реку не выпущу из берегов.

Татка, вот деньги. Возьми и настрой фортепьяно.  
Я до утра подлатаю трухлявый мосток.  
Гаммы Шопена толпятся и плачутся пьяно,  
Ходит во тьме ходуном золотой молоток.

Татка, мы живы. За нами последнее слово.  
Брезжит за мутными окнами зимний рассвет.  
Можешь играть без опаски. Я выловлю снова  
Мяч из реки, у которой названия нет.

**Анастасия Лиене ПРИЕДНИЕЦЕ,**  
Саулкрасты (Латвия)

**ОТ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ**

От большой любви рождаются лучшие дети, ну, а то, что Юрис женат — ничего, не страшно, ты давно привыкла счастье держать в секрете, ты еще помотришь, кто тут — заблудший третий, Юрис четко и ясно сказал — разведусь однажды.

От большой любви не скроешься, и не пробуй, всем известно — чувства не снабжены штурвалом, а когда тебе тридцать, зеркало смотрит строго, пахнет воздух предосенней смутной тревогой, — знай бери что дают — и не жалуйся, если мало.

Как-то неловко, неаккуратно вышло: Юрис сгорел от рака, да не развелся. Но ведь дарил — пускай не кольцо, а кольца, да и живое наследство — хмурится, дышит, что-то поет — почему про другое солнце, ты покупаешь ей все, ты рада стараться! «Ну, ничего, — утешаешь, — потом еще посмеемся, звякни лучше подружке, сходи на танцы».

Это несправедливо — растишь принцессу, ждешь короля ей, замка да платьев ярких — выросла зверь с наследственным лишним весом, пачкой стишат и Снейпом на аватарке. Ты, черт возьми, сдаешься. Читаешь Роулинг. И нанимаешь старенькую поэтессу. Та говорит — не рифмуйте «крови» и «кровли». Детка шипит — мне иначе не интересно.

И не то что хвастаться нечем — дочь уехала за границу. Только все не по-человечьи — ни карет, ни дворцов, ни принцев. Что там принцы — тебе бы внуков, только дочь не выходит замуж. В ставни Юрис стучится глухо — просыпаешься со слезами.

Это Юрис, конечно, Юрис, собрала отцовские гены. Нет чтоб жить, как мама — не хмурясь, ведь любовь — одна — неизменна! Вспоминаешь: хотела сына. Получаешь книгу по почте. Осень. Дымно, темно и сыро. Ничего не понять. Ни строчки.



**Елена КОНДРАТЬЕВА-САЛЬГЕРО,**  
Томри (Франция)

**Вариации на тему Л. да Винчи**

*Мир затих перед новой строкой,  
зыбью речи теплеет поверхность  
Вот набросок, нетвердой рукой,  
карандашный, до пробы на верность*

*Здесь изменчивы контур и свет  
всех земных окоемых законов,  
ни штриха без погрешности нет...  
«Кто докажет улыбку Джоконды?»...*

*Про Лялю К.  
(Оптимистический вариант трагедии)  
(Л. Кудряшева)*

Семь или восемь. Ключ на столе.  
Суп нелюбимый к обеду.  
Нос пятаком на оконном стекле.  
Окнами к Витьке-соседу.  
Выйдет — не выйдет сегодня во двор?  
Будем — не будем считаться?  
Дым из комфорок. От супа — костер.  
Форточку! Девять, двенадцать...

Все на работе. Уроки в зубах,  
с привкусом горьким, как хина.  
В зеркале — мрачно: вся личность — в прыщах.  
Витька — почти что мужчина.  
Мир — весь в углах, округляюсь лишь я,  
там, где мне вовсе не нужно.  
Четверть шестого. Пустая скамья.  
Здрассьте! Приветик! Натужно...  
В сторону взгляд и движенья — не те:  
спичкой дрожу в сигарету...  
Счастье, когда его нет в красоте,  
то и нигде его нету!

Вот уж шестнадцать. А ключ — все в двери.  
Витька студент-третьекурсник.  
Нового нет под луной, хоть сгори!  
Жизнь — как дешевый капустаник.  
Знаю я все про себя наперед:  
мне лишь водить ветер свищет.  
Прятаться — мне, подошел мой черед.  
Прячусь. Меня все не ищут...  
Камень в желудке. В окнах — стена.  
Слезы от тусклого света.  
Это проходят все, но одна —  
я понимаю это.

Ну и пускай. Наплевать. Оборву.  
Знаю, что лихо слагаю.  
То намечтаю, что не проживу.  
Что проживу — домечтаю.  
Пусть не в седле, но и не под седлом.  
Витька — в Америке. Вязко.  
Дождь на стекле. Пустота за стеклом.  
Скука в оконной замазке.

Кто говорит, что вся жизнь впереди?  
В двадцать-то?! Гиблое дело!  
Словно дитя у неспелой груди.  
Мыкаюсь. Мрак. Неумело.  
Счастья не будет! Но я дотерплю.  
Невидадь. Беды какие!  
Если публично себя не влюблю —  
сразу полюбят другие

Будет и тридцать, и сорок, и пусть!  
Справлюсь. Авось, не Джоконда!  
Я уж давно ни фига не боюсь  
той пустоты заоконной  
Смело читаю и ровно дышу.  
И вспоминаю со смехом....  
А в посвященье ему напишу:  
«Витька! Дурак, что уехал!»

**Михаил ЮДОВСКИЙ,**  
Франкенталь (Германия)

\* \* \*

Ты еще не отпет. Не пытайся себя оплакать,  
И долги оплатить, и по новой уйти в бега.  
Посмотри, как земную твердь превращая в мякоть,  
Из-за пазухи неба сыплется вниз снега.

Став прозрачней и строже, деревья бросают тени,  
На путях обозначив границы неровных вех.  
И сугробы, лохмато взгорбившись, как ступени,  
Простираясь вдаль, незаметно уводят вверх.

Ты еще не отмерен. Не взвешивай раньше срока  
Тень родной стороны и чужого пространства свет.  
Оттого ли в своем отечестве нет пророка,  
Что в самом пророке отечества тоже нет?

Приникает невольно сердце к иным просторам,  
Исповедуясь тишине неродных полей,  
И глядится вверх, с удивленьем молясь соборам  
Уходящих в небо готических тополей.

Ты не знаешь конца пути, позабыв начало,  
Размотав клубок и порвав ненароком нить.  
Человеческой жизни, видимо, слишком мало,  
Чтоб однажды себя понять и себя простить.

В наступивших сумерках ты обернешься слепо,  
Поглядев назад и следы различив с трудом.  
И среди бездомья покажется домом небо,  
Как среди безнебья небом казался дом.

**Анастасия ВИНОКУРОВА,**  
Дрезден (Германия)

### **Сестре**

Помнишь наши рассветы в городе N?  
Ты стремишься понять, как поет вода, —  
я приручаю ветер.  
За окнами март.  
Мы больны ожиданием перемен.  
Под пальцами целый мир,  
ослепительно чист и светел.  
Две девочки-пианистки — так трепетны и легки,  
что даже слово «общага»  
для нас пока чужеродно.  
Мы на втором этаже. На первом духовики.  
За стеной — «народники».  
Труба в кабинете под нами  
терзает Рахманинова:  
страшная тайна всех музыкантов —  
«В начале было фальшиво».  
Мы все — одной крови, одной мечты,  
одного пошиба.  
Мы тоже с тобой совсем не росли  
расхваленными —  
и пряников, и кнутов нам обеим  
с лихвой досталось,  
но все это так неважно, если идти вдвоем.  
Нам кажется, тридцать — это такая старость!  
Едва ли мы доживем.  
Ты играешь романтиков — я углубляюсь в Баха.  
Трубач старательно учит гимны новой весне.  
Руки-крылья гудят и отчаянно ждут размаха.  
Мы спорим до хрипоты,  
но сходимся, что честней

играть о том, что самих царапает изнутри —  
даже в классике быть настоящими  
невывразимо проще.

...Ворчим: «Ну, восемь утра!  
Ну, суббота, черт побери!..»

Это потом он станет великим, а пока —  
играет наощупь.  
И мы так же — наощупь — уходим дальше,  
солнечно  
переглядываясь,  
от фальши —  
к другому, прозрачному миру

соль ля си  
соль ля до  
ми  
ре  
до...

Это останется в нас — никуда не деться, —  
дрожью в кончиках пальцев,  
печатью на дне зрачков.  
Ты чувствуешь, тридцать — это такое детство!  
Куда нам учеников?

Чему мы научим —  
распахнутым взглядам в небо?  
Нашей книге еще далеко  
до финальных ударов грома.  
Убийца — дворецкий, я помню,  
но все это так нелепо,  
а вдруг у нас по-другому?  
Ты струишься, будто вода, — я улетаю с ветром.  
Совершенная магия в каждом звуке  
поющей о нас природы.  
В городе N все те же  
безумные розовые рассветы.  
Мы просыпаемся  
под «Вешние воды».

**Татьяна ЛЕРНЕР,**  
Ремоним (Израиль)

### **Груши на хохломском блюде**

Мы сидели на веранде,  
мы неспешно ели груши,  
ели, чавкали, за ели  
солнце заходило, за  
ближний холм. Сказать по правде,  
мне, болтливой рыжей вруше,  
было стремно, как в купели,  
было cool. И за глаза

я скажу, что было вкусно,  
топко, мягко, непротивно.  
Но тебе — не жди, ни слова!  
Ем, молчу, смотрю закат.  
Между письменной и устной —  
эти груши. Груши дивны.  
И чего же в них такого,  
если ум мой, языкат

и треплив, когда не надо,  
спешно складывает строки  
в столбик, в стену, в небоскребы,  
в город. В город — ни ногой.  
Здесь у нас робинзонада.  
Глянь, как груши желтобоки.  
Здесь у нас любовь до гроба.  
Правда, сладко, дорогой?

**Александр РАШКОВСКИЙ,**  
Ставангер (Норвегия)

### **О тишине**

А на закуску — мир, где тишина  
хранит слова, как выцветший пергамент,  
среди следов, оставленных ногами  
случайных ближних, приходивших к нам —

зачем? не помню (думаю, что вру),  
скорей всего — за солью, по-соседски,  
а заодно — посетовать на сердце  
и на детей, отбившихся от рук,

и помолчать, рисуя на стекле  
и посыпая пеплом подоконник —  
как будто им от этого спокойней,  
как будто нам от этого теплей.

Чужих забот простая нагота  
как щебет птиц оглохшему от взрыва,  
который так неосторожно вырвал  
из недр земли кричащую гортань.

Совсем недавно были — и ушли,  
так далеко еще не уходили,  
а мы остались — прах забытый или  
вернувшаяся в землю соль земли?

В безмолвном мире старые слова  
приобретают странные оттенки,  
как в пламя спяну брошенные деньги  
и как пожар в пустых глазах зевак.

\* \* \*

## БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ

Дом на сваях высоких. В осоке шуршит песок,  
словно сильный колдун остерегает: тсс...  
Низкий ветер змеится, с моря наискосок  
дюны ползут на мыс.

Хмарью небо набухло, грудью легло к земле  
и придавило, согнуло кривой сосняк.  
В тучах юная ведьма ныряет на помеле,  
пальцы ее в перстнях.

Вот оно, место шабаша. Ну же, лети сюда,  
в этот спичечный домик, просоленный до костей,  
где дольше века, измучена и седа,  
женщина ждет вестей.

Вспоминай, как все это было, ну же, зажги очаг,  
завари покруче зелье горюн-травой —  
остро память заплещет в цыганских его лучах  
ящеркой огневой.

Ахнет море, отступит, пенной слюной шипя,  
в илистой яме вскружит водоворот,  
и на побывку отпустит ко мне тебя,  
оплаченное вернет.



## Лето в Юрмале

Мы с бабушкой на даче ходили в магазин.  
Пока считали сдачу и лили керосин  
в железную баклажку с воронкой жестяной,  
я выходила важно побыть чуть-чуть одной —

пройтись с лицом солидным (на пятом-то году),  
чтоб никому не видно, что бабушку я жду.  
Вокруг торчит, как спички, натканный лесок,  
тропинка к электричке сквозит наискосок —

там солнечные пятна и корни под песком,  
по ней идти приятно без тапок босиком,  
и хочется так долго идти куда нельзя,  
сосновую иголку задумчиво грызя.

Шагаю и шагаю, и до сих пор иду,  
и песенки слагаю с соломинкой во рту,  
а жизнь кругла, как мячик, другой тропинки нет:  
вон, впереди маячит бабулин силуэт.

## Возвращение

Это Рига. И все это — площадь, вокзал и джаз,  
пожилая латышка — голуби на плечах, —  
никуда не делось. Вот и на этот раз  
мелкий дождь слезится в белесых ее очах,  
размокают хлебные крошки на мостовой,  
в жестяных желобах бесконечно бубнит вода,  
и басок саксофона взывает, как вестовой,  
оживляя мое заблудившееся «тогда».

Ничего не уходит. Ничто, никогда, никто.  
Эта девочка — ленты, бумажный цветной веноч, —  
что идет, держась за бабушкино пальто,  
повторение «я» — савояр и его сурок.

Оступаясь неловко, красные башмачки  
по булыжникам улиц, постукивая, скользят...  
Эта жизнь, этот город мне больше не велики.  
Чутких стрельчатых окон янтарно-кошачий взгляд  
возвращает меня мне, запомнив тогда такой.

Влажно блещут ладони площади. Вся в заре,  
пожилая латышка взмахивает рукой,  
шумно хлопают крылья взлетающих сизарей.

\* \* \*

...Бренчит умывальник, прибитый к сосне.  
И мятный зубной порошок на десне,  
и хвоя, прилипшая к мылу —  
все здесь, ничего не забыла.  
Все помню — как пахнет тугая смола,  
что я колупала в щербинках ствола,  
увязших букашек и мошек,  
и пятна на сгибах ладошек,  
и мшистый забор, и дырявый лопух,  
и в солнечной пыли бредущий пастух,  
и шумно сопящее стадо —  
как из-за штакетника сада  
смотрела на них, замирая слегка,  
поскольку ужасно боялась быка,  
и если он шел слишком близко,  
я к дому с пронзительным визгом  
неслась, спотыкаясь о корни, и вот —  
в спасительный бабушкин ткнувшись живот,  
опять становилась всесильной.

И вечер, душистый и синий,  
на дачу спускался, по саду сквозя.  
В столицу вечерних людей увозя,  
вдали электрички свистели.  
И веса не чувствуя в теле,  
я сладко плыла, как туман по земле...

Как тот муравей, застывая в смоле,  
я все забирала с собою:  
сосну, умывальник, левкой,  
коленки в царапинах, теплую реч-  
ку, шорохи, запахи, травы до плеч,  
огромные яблони, сливы...  
И близких — живых и счастливых.

### **Фестивальное**

Путь от Майори до Дубулты —  
фонари, особняки.  
Как обычно, недодумал ты  
две последние строки,

в домик с окнами горящими  
тихой радостью влеком,  
где вот-вот уже обрящем мы  
самогону с шашлыком.

Тут витает над карнизами  
дух сирени и дымка,  
тут поэзией пронизаны  
каждый камень и доска,

тут бренчат на звонкой лире и  
копят крошки в бороде  
в эйфоричном перемирии  
и хохол, и иудей,

и прибалты, и, конечно, и  
финн, и друг степей калмык...  
В общем, много тут намешано  
постсоветских горемык.

Все счастливые и томные,  
залоснившись от ухи,  
достают из сумок тоннами  
рукописные стихи...

Гой ты, Балтия великая,  
разгони мою тоску!  
Море Юрмалы, мурлыкая,  
влажно ластится к песку:

путь от Дубулты до Майори —  
дюны, сосны, огоньки...  
Так, не всплыв, и закемарили  
две последние строки.

---

*Галина Илюхина* — поэт, автор стихотворных сборников «Пешеходная зона», «Ближний свет» и других. Редактор ЛИТО «Питер», куратор Международного поэтического фестиваля «Петербургские мосты». Член Союза писателей Санкт-Петербурга.

\* \* \*

В летнем Балтийском море ночной заплыв  
лучше всего вспоминать порою осенней,  
все закоулки памяти перерыв  
в поисках ускользающих потрясений.  
Воздух касался лба, а вода — коленей.  
Словно прилив, к губам подплывал мотив,

что раздавался вечером из одной  
сумрачной лавки в зарослях винограда —  
жалобный блюз журчал из уст заводной  
рыбы резиновой пятые сутки кряду...  
Там, обретая радужный цвет распада,  
сизые ягоды падали в перегной.

Если уплыть совсем далеко отсель,  
пенье почти не кажется иностранным.  
Скоро совсем умолкнет. Дальний отель,  
Залитый светом, привидится вдруг стаканом.  
Словно чайники, в цилиндре его стеклянном  
черных фигурок вертится карусель.

Мир исчезает, как виноград в грязи.  
Чавкает океан, берега сжирая.  
Если от горизонта смотреть, вблизи  
нет ни земли, не воды, ни ада, ни рая.  
Лишь розоватый свет подмигнет, сгорая,  
и темнота сомкнется, как жалюзи.

Что притащить со свалки воспоминаний,  
чтоб напитать стихи объедками ранней  
жизни на побережье, летних каникул,  
чтобы по горлу смычок тоски запиликал,  
вспыхнуло отраженье в воде стоячей  
детского дома, бывшего финской дачей.

Из разноцветных окон ажурных башен  
дети глазели ночью. Казался страшен  
идол вождя, светившийся алебастром.  
Тень от руки тянулась к петуньям, астрам  
и, надломившись об горизонт над заливом,  
вдруг растворялась в свете зари фальшивом.

Пляж завершался каменной косою —  
словно к воде склонившеюся борзою.  
Острыми позвонками торчали камни,  
и возникало чувство, что никогда мне  
не оказаться за отдаленным мысом,  
где за холмом песчаным, за лесом лысым  
не возведен ни лагерь, ни санаторий,  
где ни одна картинка не стоит моря.  
Вот почему я там сочинила город,  
что, как лоскут, от эпохи другой отпорот:  
башни в пейзаже, пажи, витражи, корсажи...

Я оказалась позже на этом пляже,  
и отразился он в моем взгляде вялом  
просто линиялым байковым одеялом  
в пятнах, как будто кто-то курил в постели  
или страницы книги в костре сгорели.

Здесь не пролезть фантазии, — слишком узки  
стали тропинки. Кажется, ждут погрузки,  
как холодильники, в сетках пижмы отцветшей,  
остовы снежно-белых пустых коттеджей.

Пара опят резиновых цвета клизмы  
скрипнет под сапогами: «Не дождались мы  
времени, чтобы стать грибникам добычей.  
Им не найти нас, много кругом отличий».  
Почва местами скукожилась, где-то вздулась,  
вылезли корни, ландшафт приобрел сутулость.  
В доме забытом — бомжи и ржавые плиты,  
рухнули этажи, витражи разбиты.

Воображенье, что в детстве меня томило,  
тает, как будто мозг превратился в мыло.  
Сказка моя закончилась некрасиво.  
Скучились облака на краю залива.  
Что там за тени бродят за горизонтом?  
Мы им не снимся, к счастью, спокойней сон там.

### **Курортная зарисовка**

На берегу морском сидишь на земле ты,  
не замечая, как дребезжат в сторонке  
возле воды пластмассовые шезлонги,  
будто доисторические скелеты  
крупных цикад. В руке твоей — тот же пластик  
с красным вином, что ночью кажется черным.  
И, добавляя соль к кукурузным зернам,  
ты дегустируешь, словно вприкуску, счастье.  
Крапчатый свет разлил фонарь, фейерверк ли,  
и встрепенулись листья зеленым взрывом.  
Краски в глазах запрыгали и померкли.  
Мир наяву не бывает таким красивым...  
Отпуск закончился. Катер готов к отплытью  
в край, где прибой становится отголоском —  
ветром, дождем, шуршащим в пространстве плоском  
на пустыре, подернутом снулой снытью.

## Ассоль

Девушка на причале, челка косая.  
Пыльные пятки, с парашета свисая,  
чертят узоры на пляжном песочке сером.  
Девушка встречи ждет с благородным сэром,

чтобы приплыл, сложил мадригал без мата.  
Школьницы сердце — что промокашка, смято  
взрослой тоскою, в лифчике тесном парясь.  
Щит «Кока-Кола» алеет вдали, как парус.

Нет в перспективе Грея, сплошь — гамадрилы...  
Зря она, что ли, зону бикини брила?  
Новый купальник купила? Не для него же —  
персонажа с сизым тату на коже,

что, приближаясь шагом весьма ленивым,  
ибо от шорт до кепки наполнен пивом,  
плюхнется рядом, скинув смрадные сланцы.  
Вряд ли о нем напишут в журнальном глянце.

Хоть бы скорей слинял, отвял, отцепился!  
Лучше весь век одной проторчать у пирса,  
библиотечную книжку в руках сминая,  
где паруса трепещут, ревет волна и  
ткется судьба — пусть лживая, но иная.

## Глубина

Осень затянет на глубину.  
Напоследок вдохну  
неповторимый курортный бриз,  
взгляд опуская вниз —  
на водяные знаки судьбы.  
Берег встал на дыбы,  
И накренились домов борта.



Глубина. Глухота...  
Волны сомкнулись. К горлу приник  
вспененный воротник.  
Сердце растает на глубине,  
словно льдинка в вине.  
Рыбы рябин на подводном ветру  
красную мечут икру.  
Солнце плывет погребальным венком,  
Памятью — ни о ком...

\* \* \*

Водопады оранжевых ягод,  
воспаленные гроздья рябин  
оторвутся от веток и лягут,  
упадут, будто гемоглобин,  
  
потому что над кромкой залива  
ветер перемесил облака,  
и таращится сверху тоскливо  
некрасивый портрет старика,  
  
прокутившего время идиллий,  
одинокого — так же, как я.  
Не припомнить, когда приходили  
в парадиз мой фанерный друзья.  
  
Опасаясь разрыва, развала,  
я бы вас удержала в былом  
и на память замариновала  
на веранде, за мокрым стеклом,  
  
и под крышкой, в растворе веселом  
поэтический дух берегла...  
Дружба треснула банкой с рассолом.  
Подметаю осколки стекла.

---

*Нина Савушкина* — поэт, автор книг «Пансионат», «Прощание с февралем» и других, член Союза писателей Санкт-Петербурга.

### ДЫХАНЬЕ ДЮНЫ В ВЫШИНЕ

Все тот же неба цвет, и непогода  
всегда присутствует, и время года  
неясно. И уже не снятся мне  
ни в изумрудных зарослях дорога,  
ни аист, циркулем стоявший у порога,  
и ни дыханье дюны в вышине.

Все там осталось в шуме волн и в пене  
и в гроздьях отцветающей сирени,  
и лебеди летели по утру,  
как рыбаков, пропавших в море, души...  
О чем-то аист думал, что-то слушал.  
Я там была. Я думала, умру.

Все корабли уснули у причала,  
по рельсам все колеса отстучали,  
и как зима, душа моя бела.  
И только ангел все меня тревожит  
своим крылом невидимым и тоже  
мне шепчет, что я там была, была...

\* \* \*

*Слышишь, нелюбимый,  
белая ночь настигает нас...*

Н. Перевезенцева

...А нас с тобой никогда  
не настигнет белая ночь,  
Потому что всю свою жизнь  
ты живешь за ее пределами.  
Ни границы нас разделяют, ни кровь, ни ложь,  
ни любовь, что бы мы с тобою ни делали.

Но нелюбимым не был ты никогда.  
Все сто лет моей жизни ты был любимым.  
И только одна белая ночь, как слово «да»,  
Нам с тобой не досталась,  
осталась,  
И рифмуется с «непоправимым».

\* \* \*

Я приеду к тебе, когда зацветут фиалки  
на холмах и в предместье.

И будет не жалко  
собирать их в корзины,  
разбрасывать и обниматься  
на фиалковом ложе небесном.

И так может случиться,  
что вернется к нам молодость, крылья,  
и мы полетим над сиренью,  
над несбывшейся жизнью,  
над странностями повторенья  
всех раздоров, разлук и обид,



\* \* \*

*Е. Н.*

А будет так:

Заснеженный Таллин или оттаявший Вильнюс,  
Чай или кофе в кофейне под говор напевный.  
Ты позабудешь про некстати прицепившийся вирус,  
Я посмеюсь над тем, что хотела бы стать вселенной  
Для тебя. В предрождественской суете и миганьях  
Лампочек на фасадах слегка покосившихся зданий  
В сторону моря, где за чертой — очертанья  
Хельсинки или Стокгольма, не прозвучат признанья.  
Да и глупо ловить слова в предзакатной хмари.  
Да, Рождество, волшебство, каждой твари по паре...  
Ноев замес отработан настолько ловко,  
Что с тобой мы считаем парность украшенных окон.  
Воздух имбирно-миндальный так густ,  
что не нужен ужин.  
Можно месить ногами налет метельный.  
Старые улочки нами давно изучены,  
Мы проходили их звук, отголоски, тени.  
Даже сдавали экзамен, дивясь на фото —  
Кто эти двое на фоне старинных строений?  
Не узнавая, смеялись — ну что ты, что ты —  
Вот же твой свитер, а вот твоя шапка с оленем.

А вечером будут огни и базар у ратуши,  
Посуда, глинтвейн, игрушки, украшения из кожи.  
Здесь красиво, конечно, но для меня  
нет большей радости  
Чем любоваться тобой, мой хороший.

Кто-то протанцовывает на цыпочках,  
Кто-то гремит командорской поступью.  
Я так хотела пролететь над всеми, никого не тревожа!  
Кто-то похож на памятник  
Самому себе прижизненный,  
Кого-то будит рассвет, целуя в глаза осторожно.  
Мне же досталась ночь с мышами летучими  
Да луна — карикатура на мое отражение.  
Я проиграла свои сражения.  
Я все проиграла, до последней нитки,  
до последних «прости» (их было — в избытке).  
И вроде молилась я лишь о покое,  
не просила от чьих-то щедрот иного...  
Хотя — осталось мне даже с лихвою:  
Считать дни до последнего выдоха,  
Копить на старость воспоминания,  
Красками баловаться, воровать их у осени,  
Подслушивать чужие признания,  
Любоваться любовью тех, кто моложе  
(как красиво иногда в метро целуются!),  
Проводить пуховкой по морщинистой коже,  
Разрешать себе по вечерам пирожные,  
Проходить по мокрому саду или улице  
В некрасивых сапогах резиновых,  
Не думать о том, что будет, и  
Радоваться самой крошечной малости.  
Благодарной быть даже зимам  
Северным, неласковым к прохожим.  
Летом же — печь пироги с черникой,  
Вязать на холод носки и радоваться солнышку.  
А что еще нужно, чтоб быть счастливой?  
И это проиграть невозможно.

\* \* \*

Перед моей избушкой метель на поле бесится.  
На солнечной поляне за нею шмель поет.  
А я живу вне времени — такая вот нелепица,  
И я хлебаю поровну от всех времен невзгод.  
Какие мне подарочки пригонит ночь безлунная?  
Какие песни сложатся в головушке пустой?  
Давно не претендую я на статус «шибко умная»,  
все «умные» беседы веду сама с собой.  
Мне в зеркале мерещатся сплошные обещания —  
не то любви безудержной, не то — небесных кар.  
А в доме — запах выпечки и музыка печальная  
и в клетке мышь без усталости грызет из прутьев шар.

---

*Татьяна Богина* окончила Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. Автор книг «Темно-синим по белому», «Край городов», «Междустрочье». Участник литературного объединения Г.С. Гампер. Живет в Санкт-Петербурге.

## ГНЕЗДО АИСТА

Поезд въезжает в Ригу. Уже позади Югла, Чиекуркалнс, Ош-калны. И вот когда до вокзала остается каких-то две-три минуты пути, состав замедляет ход. За окном проплывают хорошо знакомые с детства дома. В Риге я родился и в этом привокзальном районе прожил много лет. Проезжаем мимо моей улицы, моей школы, завода, где работал мой отец.

Однажды на обложке одного из латышских журналов опубликовали рисунок: чета аистов заботливо опекает детенышей в огромном гнезде, контурами напоминающем карту Латвии. Красивый, добрый символ придумал художник. Люди многих национальностей живут у янтарного моря.

Рига всегда была удивительным городом, незабываемым, притягивающим к себе. В двух кварталах от моего дома — дом, где родился Аркадий Райкин. Однажды он признался, что ему часто снится картинка из детства: рижская набережная, по которой гуляют вежливые приветливые люди в светлых одеждах.

Минут пятнадцать ходьбы вверх по моей улице, свернуть налево и увидишь еще один дом с мемориальной доской. Здесь родился Сергей Эйзенштейн. Ожившие каменные львы в фильме «Броненосец «Потемкин» — это картинки уже из его детства. Диковинные звери и птицы украшают здания, которые построил его отец Михаил Эйзенштейн — один из самых ярких рижских архитекторов эпохи арт-нуово.

Рига хороша не только своей панорамой — этот город красив в деталях. Домский собор — наверное, самое известное сооруже-



ние в Латвии. Благодаря своему органу, одному из крупнейших в мире, он притягивает сюда тысячи людей. Билеты на концерт достать непросто, но днем собор можно посетить как музей. Раньше в Домский, как в любой храм, поднимались. Теперь, чтобы попасть в него, нужно спуститься по стертým каменным ступеням. За восемь веков собор врос в землю почти на два метра. Уже на пороге ощущаешь дух Средневековья. Даже в самый жаркий день за толстыми стенами царит прохлада. А старинные витражи хранят под готическими сводами вечный полумрак, оберегая покой церкви, времени и захороненных прямо под ее напольными плитами знатных горожан...

Узкие улочки Риги — это не только строка из некогда популярной песни. Они причудливо извиваются по старому городу. Но самая-самая узкая из них — улица Розена — шириной всего 1 м 13 см. Рассказывают, однажды в старину на улочке не могли разъехаться две всадницы. Каждая считала себя богаче и знатней визави и ни за что не хотела уступать дорогу. Тут какой-то старичок и посоветовал: «Пускай та, что помоложе, даст проехать старшей». Обе дамы вмиг разъехались! И движение было восстановлено.

Некоторые улицы напоминают своими названиями о том, где какие на них хозяйничали цехи. Улицы Жестянщиков, Кожников, Булочников. Гильдии мастеров веками держали марку. Чтобы выбраться из подмастерья в настоящие мастера, требовалось подчас проработать двадцать-тридцать лет. Строгая иерархия была и у купцов. Сохранилась легенда о некоем Блюмере, который мечтал стать членом рижской Большой купеческой гильдии. После нескольких безуспешных попыток богатый торговец выкупил земли перед зданием, где заседали его коллеги, и выстроил доходный дом. На крыше расположились фигуры черных котов, развернутые хвостами прямо в окна председателя гильдии. Попал Блюмер или нет в цех знатных купцов, история умалчивает. Но легендарный дом и коты на нем стали одной из достопримечательностей Старого города.

А я вспоминаю не только петляющие узкие улочки Старой Риги, грохочущие автомобили по брусчатым мостовым, распространяющийся по жилым кварталам запах дыма из печных труб. Я думаю, как мне повезло оттого, что в детстве встретил столько

интересных людей. Из всех наших соседей наиболее яркими фигурами были две старухи — старожилы дома. Никто не знал ни их имен, ни отчеств. Их называли исключительно по фамилиям, обязательно добавляя старорежимное слово «мадам».

Мадам Фридолинь — в прошлом владелица дома, хоть и была после войны «уплотнена» в коммуналку, чувствовать себя хозяйкой не переставала. Каждый вечер, ровно в десять, она, например, по отработанному десятилетиями ритуалу закрывала на замок парадную. А так как ключ был только у нее, частенько среди ночи слышались возмущенные голоса припозднившихся жильцов, которые требовали впредь не закрывать подъезд. Но мадам Фридолинь с легким акцентом говорила:

— Это невозможно...

И на этом всякие споры почему-то тотчас прекращались.

Еще мадам Фридолинь отличало то, что она внимательно следила за успехами всех соседей. Когда я пошел в школу, она ежедневно справлялась о моих оценках. А когда я наконец получил первую пятерку, подарила на память необычный сувенир.

— Хранила на черный день, — сказала она, вручая мне что-то тяжелое и холодное. Это оказались пять лат 1920-х годов. Монета из серебра высшей пробы ни разу так и не пригодилась своей хозяйке, превратившись со временем просто в драгоценный лом.

Для другой соседки — мадам Веселовской, бывшей белоэмигрантки, годы в независимой довоенной Латвии не принесли ни счастья, ни богатства. По ее рассказам, она частенько оставалась без работы. Нанимали ее в основном в мелкие мастерские, где она шила или штопала, стирала белье или гладила чужие сорочки. Но либо мастерские быстро разорялись, либо хозяин из экономии сокращал персонал, в первую очередь за счет эмигрантов.

Квартирка мадам Веселовской хранила множество будораживших воображение вещей. Здесь были пузатый комод, икона с лампадой, треугольные медные чайники, похожие на выросшие до гигантских размеров колпаки гномов, а стены украшали пожелтевшие гравюры и литографии Старой Риги и Сигулды.

Сигулду называют «видземской Швейцарией». Визитная карточка этих мест — живописные холмы с руинами замков, ко-

торых тут на небольшом участке земли целых три. С самым большим из них — Турайдским — связана красивая легенда. У замкового садовника была приемная дочь Майя, которую за ее красоту прозвали Турайдской розой. Разумеется, за ней ухлестывали солдаты из стражи. Но она всех отвергала, поскольку уже сделала свой выбор. Однажды два ландскнехта подбросили девушке записку, якобы от жениха, с приглашением на свидание в одну из пещер в долине протекающей рядом с замком реки. Когда Майя поняла, что угодила в ловушку, приняла твердое решение — лучше смерть, чем бесчестье. Она сказала, что ее платок обладает волшебным свойством — тот, кто владеет им, становится неуязвим. Проверить предложила на себе и мужественно встала под занесенный меч...

Самое интересное, что история Майи — не выдумка. В видземских архивах — вот она, прибалтийская аккуратность! — сохранились материалы суда над негодьями-наемниками. А легенду в разные времена успешно использовали в идеологических целях. Когда местными землями владели немецкие бароны, вышла книжка, автор которой утверждал, что Майя — потерявшийся ребенок благородного семейства. Немецкого, разумеется. Ибо только человек рыцарских кровей способен на такой чистый и мужественный поступок.

В годы первой республики вышло еще несколько произведений. В них Турайдская роза превратилась в истинную латышку — крепкую духом и телом. Этакую несостоявшуюся хозяйку большого хутора.

Легенде о Турайдской розе пять веков. И пять веков на ее могилу на замковой горе идет нескончаемое паломничество влюбленных, которые клянутся здесь в вечной верности друг другу. Для них главное — не кем была Майя, а как она поступила.

Особую мою зависть в квартирке мадам Веселовской вызывали несколько ярких рождественских открыток. Их присылал бывший муж, бежавший на исходе последней войны в Швецию. Как-то раз я спросил, почему мадам не уехала с ним. Она ответила резко:

— Что я там забыла? У меня здесь квартира, пенсия, кое-что могу подработать. А он там в богадельне живет.

Похожих взглядов на жизнь придерживалась и мадам Фридолин. Ее дочь после войны тоже обосновалась за границей. Однажды старушка даже съездила к ней в Западный Берлин. Вернулась расстроенной:

— Дочь предлагала остаться, — сообщила она. — У нее есть все. Только Родины нет...

Удивительные это были старухи. Наверное, многое для них было чуждо и непонятно. Но и бывшая домовладелица, и бывшая белоэмигрантка, может, и не приняли новое время, но они впустили в свою жизнь новых обитателей своего дома. Щедро поделившись с ними рассказами о своей жизни, они сделали прошлое Латвии частью и нашей судьбы.

Когда живешь в Риге, невозможно не увлечься историей. Город — скопление тайн. В школьные годы мы много ходили по музеям. Однажды наш класс оказался в рыцарском зале. Люди в Средневековье были ниже ростом, по сравнению с ними мы выглядели настоящими акселератами. Кто-то предложил:

— Давайте примерим на ком-нибудь рыцарский шлем.

Экскурсовод, на удивление, легко согласилась. Выбрали меня, как самого маленького по росту. Рыцарский шлем, с виду грубый и тяжелый, внутри оказался весьма комфортным, с мягкой кожаной прокладкой. Одноклассники тут же стали колотить по металлу, проверяя мои ощущения. А когда пришло время снимать средневековый раритет, забрало заело. Мои друзья уже разъехались по домам, а я еще несколько часов сидел в приемной директора музея, ощущая на себе недовольные взгляды смотрительницы и экскурсовода. Ждали слесаря, которого срочно вызвали по телефону из дома.

Музей истории Латвии размещается в Рижском замке, где прежде располагалась резиденция магистра Ливонского ордена. Замок считается одним из крупнейших городских крепостных сооружений в Европе. Своего наивысшего расцвета он достиг в XIV веке. Рига и другие города Ливонии именно в это время неожиданно стали богатеть, строить великолепные храмы и замки. Есть версия, что неожиданный расцвет связан с тем, что скромный орден на Севере Европы приютил у себя спасавшихся от го-

нений братьев-тамплиеров. Рыцари ордена Храма вроде даже передали ливонцам свои богатства, в том числе и знаменитую чашу Святого Грааля...

Впрочем, уже скоро и у самой Ливонии начались трудные времена. Последний великий магистр Готхард Кетлер, потеряв свое войско в битвах с Иваном Грозным, понимая, что дни его ордена сочтены, принял в начале 1560-х годов подданство Польши. Его пожаловали в герцоги Курляндские. Небольшая страна занимала весь юго-запад современной Латвии. По мнению некоторых историков, Кетлер прихватил с собой и ливонскую казну.

Сыновья Кетлера оказались неважными правителями. Старший, например, в душе был либералом. Законы у него принимал парламент, в котором даже действовали несколько партий. Но приверженность к демократии таилась, видимо, где-то очень глубоко в герцогской душе. Как только ландтаг выступил против правителя, он приказал перерезать депутатов прямо в здании законодательной власти. Пришлось вмешаться польскому королю. Герцога сместили. Зато его сын Якоб оказался, пожалуй, самым передовым человеком XVII века во всей Северной Европе.

Он учился в Ростоке и Лейпциге. Став герцогом, решил добиваться своих целей не силой и жестокостью, как его отец, а путем реформ. Он развил промышленность. Мануфактуры Курляндии производили сукно не хуже английского, а платья шили даже лучше французских. Сталелитейные заводы производили инструменты и оружие. Поля приносили хорошие урожаи, Балтика дарила неплохой улов. В местечке Сабиле есть особый холм. Чуден он тем, что расположен так, что солнце освещает его склоны с утра до вечера. И хоть лучи его в этих местах такая же редкость, как и у нас, тепла вполне достаточно, чтобы в Сабиле выращивали виноград. Виноградники Сабиле, целые и поныне, считаются самыми северными на планете и официально зарегистрированы в Книге рекордов Гиннеса. Говорят, первым внимание на чудо-холм обратил герцог Якоб, а вино из этих мест поставляли к его двору.

Якоб искал новые рынки сбыта своих отличных товаров. И решил махнуть через... океан. Его флот завоевал сначала коло-

нии в Африке, а затем курляндский флаг — черный рак на красной фоне — взвился на острове Тобаго в Карибском море. Сегодня это кажется фантастикой, но это исторический факт.

Петр I в свое первое путешествие за границу отправлялся через курляндский порт Виндаву — нынешний Вентспилс, — судя по всему, пример Якоба вдохновил его и укрепил в необходимости осуществления задуманных реформ. Говорят, русский царь даже планировал поход своего флота к берегам Африки...

Одного Якоб не учел — зависть соседей. Во время борьбы с Польшей за сферы влияния шведы захватили герцога и держали в плену больше двух лет. Без хозяина постепенно зачали колонии, и их прибрали к рукам англичане и голландцы.

Но воспоминания о великих морских походах, об общении с дикими племенами и увиденных чудесах буквально вошли в генетическую память народа. Для латышей, предки многих из которых участвовали в реализации планов курляндского герцога, экзотические земли и названия не тема для похвальбы — это часть их реальной истории.

А герцогство со временем влилось в состав России. Чтобы приблизить его, Петр Великий выдал замуж за одного из последних Кетлеров свою племянницу Анну Иоанновну. Герцог был очень юн, как и его суженая. Выпив во время свадебных торжеств знаменитый петровский штоф водки, он скончался по дороге в свои земли. Анна Иоанновна почти двадцать лет маялась от скуки в крошечном государстве, пока судьба не бросила к ее ногам российский престол. Кстати, именно Анна Иоанновна открыла талант Растрелли. Прежде чем построить шедевры в Петербурге, он создал два прекрасных дворца в Курляндии — в Елгаве, тогдашней Митаве, и Рундале.

Однажды, впав в меланхолическое настроение, мадам Фридолинъ открыла створки шкафа, завернула скатерть на столе и разложила на нем свое богатство. Это была коллекция «Календарей земледельца» за 1930-1940 годы. Ежегодник открывает портрет президента Латвии Улманиса. А через год на обложке уже — Сталин. Еще через год — человек с косой челкой. А спустя еще несколько лет — опять «отец народов». Лица разные, а сен-

тиментальная подпись под портретами одна и та же — «Защитник нашего мирного труда». Даже шрифт не меняли.

История оставила нам массу осколков. Склеить все уже невозможно. Но составить из них более-менее цельную картину все-таки можно. И даже необходимо, чтобы понять, что откуда берется. Ливонские рыцари, курляндские герцоги, походы Ивана Грозного, планы Петра, причуды Анны Иоанновны, масонские амбиции Павла... С Латвией история России связана очень тесно. И главное, очень логично. Я уверен, придет время, восстановится связь времен. Нам станет понятно многое из того, что сейчас драгоценными осколками за ненадобностью лежит где-то в дальнем ящике истории.

---

*Анатолий Аграфенин* родился в Риге в 1963 году. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета. Автор книг «Саквояж впечатлений», «Виза в мир», «Брось монетку, чтобы вернуться». Член Союза журналистов Санкт-Петербурга и Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

\* \* \*

На мгновенье жизнь мелькнет чужая  
за окошком дальнобойной фуры.  
Ах, какая краля там чумная!  
Что за челочка у этой дуры!  
Позавидуешь тебе, водила рыжий —  
краковский челнок, твоим транзитам...  
И во сне себя в Казимеже не вижу,  
а ведь помню, что когда-то жил там.  
Жил, а больше ничего не знаю, —  
словно зельем опоили на ночь;  
словно есть блокпост, где отрезают  
нашу память о прошедшем напрочь;  
есть таможня, где шмонают страшно —  
так, что две-три строчки за душою  
обнаружив, отберут: неважно,  
где, когда и что стряслось с тобою...  
Скажут: видишь свет в кабине слабый?  
Помнишь отблеск встречных фар на лицах?  
Этот опыт твой хорош хотя бы  
тем, что и ему не повториться.  
Вот и стой здесь — до души раздетый,  
со своей беспопытной удачей,  
никому не жалуясь, что эта  
жизнь сложилась так, а не иначе.



## Экспресс «Дрезден–Цюрих»

Что ты, юноша тучный, хранитель  
и даритель дорожных услуг  
с постоянным своим «извините...»,  
отчего этот странный испуг?  
Что ты с грустью глядишь на дорогу  
в униформе своей голубой?  
Двухэтажный аквариум вздрогнул,  
отвалил от платформы пустой.  
О, не бойся! — мы сомиков глуше,  
тише барбусов, гуппи скромней;  
твой подводный покой не нарушим,  
не порушим кормушки твоей.  
И в искусственной бодрой прохладе  
за двойным затененным стеклом  
мы — ни звука, клянусь, о надсаде,  
о разладе, в котором живем.  
Так бесшумно плывет этот лучший  
из экспрессов, и сны так легки:  
никаких затеканий, удуший,  
никакой неизбывной тоски.  
Только блески далеких отточий  
на холмах нарушают покой  
Европейской игрушечной ночи —  
Ruhe, Ruhe — беззвездный, глухой.

## Кельнский собор

Здесь, в сумерках исповедален,  
оседают гордыня и страх,  
слишком замысел вымыслу равен,  
слишком кажется дерзким замах.  
Этот каменный сад, эти кроны,  
виноград этот дикий, хмельной —  
не затем ли он рос так упорно,  
чтобы с каждой новой войной,

почерневшим в смертельном ущербе  
и опять не доставшим небес,  
распадаться в строительный щебень  
и по новой идти на замес.  
Кто же так потакал долгострою:  
люди, нелюди? Может быть, тот —  
отбирающий левой рукою  
то, что правой рукою дает?  
Не к нему ли стареющий зодчий,  
помнишь, — статики верный адепт,  
из глубокой коричневой ночи  
выходящий, сутулясь, на свет,  
обращался: «За восемь столетий  
одолев этот гибельный путь,  
я взорву все соборы на свете,  
чтобы только любимых вернуть.  
И разрушивший все, что настроил,  
прокричу в непроглядную высь:  
«Я заботы твоей недостоин,  
не смотри на меня. Отвернись.  
Под прощальный обвал канонады  
среди этих развалин немых  
не люби меня больше. Не надо.  
Но верни мне любимых моих».

### **Послесловие**

Вокзал дрожит... Но музы не поют —  
так много лязга, гомона и гула...  
Подножки ставят и по спинам бьют,  
и словно сами по себе бредут  
самодовлеющие челноков баулы.  
Из пункта А в пункт Б переместясь  
через четыре сонные границы,  
в перронную разжиженную грязь  
ступая, понимаешь, торопясь,  
что можно было и не торопиться.

И можно было сочинить финал  
истории, навеянной дорогой,  
когда бы ясно не осознавал,  
как трудно вспомнить то, что не видал,  
что неподвластно памяти убогой.

В туннеле мрак, хоть выколи глаза.  
Скрипит замызганный кожзаменитель  
носильщика... А я на два часа  
проездом здесь и, как зимой гроза,  
случаен и не нужен.  
— Извините,  
как выйти в город? — Здесь прохода нет! —  
Со всех сторон тебе вопят истошно...  
О, Господи, и через сотни лет  
мы, может быть, не вынырнем на свет  
из безъязыкой темноты подвздошной.  
Не нами выбран век для жизни, но  
и нас самих века не выбирали...  
Снует челнок, жужжит веретено —  
не нами это все заведено,  
и все на нас закончится едва ли.

---

*Александр Фролов — поэт, автор книг «Обратный отсчет», «Обстоятельства места» и других, член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат литературной премии имени Н.А. Заболоцкого.*

## ВИЛЬНЮССКАЯ ЭЛЕГИЯ

В квартире полумрак, за окнами светлее.  
Индийский, сорт второй, чем крепче, тем вкуснее.  
Кот, старожил сих мест, не спит и смотрит косо,  
И гаснет папироса.

России нежный сын — родства, увы, не вынес:  
По горло ею сыт, куда поеду — в Вильнюс.  
Не менее, чем те, люблю я камни эти,  
И поджигают пети-мети.

Страна чужих людей, надежда и разлука.  
Здесь верная меня, конечно, ждет подруга.  
А в Ленинграде дождь, приятели — изгой,  
И все такое.

Пусть более, чем мы, прочны, здоровы, сыты  
Пребудут этих мест земля, трава, ракиты,  
Костелы и цветы, поэзия и реки,  
И человеки.

Мышиные права, живу как бы не живши.  
Любимая права, остывши, позабывши,  
И, вижу, надо  
Другие мне искать места для променада.

Невнятная любовь, случайные беседы.  
И местные меня к себе не ждут поэты.  
И кажутся слова пустыми в самом деле,  
И призрачными цели.

\* \* \*

Была запретная страна Литва.  
Там лебедь жил таинственный и белый,  
И девушка за прялкой пела  
Протяжные, как Нямунас, слова.

Куда, лесами синими маня,  
Меня зовешь в последний день недели?  
Спешит гонец к подножью цитадели  
И плетью ветра с маху бьет коня.

Моя подруга, разметавшись, спит.  
Литовский ветер заплутал меж прядей.  
Объятъя сонны, и порыв обряден,  
И обреченность в памяти таит.

И спит земля, как смуглая рука,  
Что обнимает девушку за шею.  
Туманясь и на запад хорошея,  
Плывут над ней и любят облака.

И струны сосен теребя во сне.  
Поет Литва, и песней сон украшен...  
Ей никакой запрет не страшен,  
Как, видимо, он страшен только мне.

\* \* \*

В деревне Иерузалимки,  
Где пахнет хлебом и грибами,  
Хозяйки продавали сливки,  
И мужики топили бани.

Там вежливых поляков горе  
Я встретил около костела.  
Стояла осень на разборе,  
И небо нависало голо,  
Как небо — оловом, железом...

И странно западая в сердце,  
На фреске, стывшей под навесом,  
С креста снимали Страстотерпца.

Рука умельца богомаза,  
Угодного себе и Богу,  
Водила кистью без отказа  
И колдовала понемногу.

Откуда бы могла иначе  
Ожить в стене такая сила?!  
Здесь над могилами не плачут,  
Как там, как Та — не голосила.

И польского не зная рая,  
Без слез, кощунствуя безбожно,  
Я думал: где так умирают —  
Жить можно...

\* \* \*

В том месте снов и тишины,  
Где я болтался горстью четок  
В тени костела и в холодный  
Любил смотреться монастырь,  
И католическим старухам  
Дарил копейки от души —  
Грибами пахло и чужбиной.

Но приезжали в гости к нам  
Высокие и свадебные гости,  
И я летел за ними на коленях  
По скользкому от близкой крови полу  
И непонятных звуков языка  
Ловил стихи и радовался жизни.

Как я был счастлив в этом октябре! —  
В прозрачном холоде над Неманом серьезным,  
И у хозяйки доброй на дворе,  
Где яблоки росли, и ночью звездной  
Кричал петух, и жук звучал в коре.

Где звонкие я складывал дрова  
Для пасти однотрубного органа  
С окаменевшей глиною на швах,  
Где у соседки древнее сопрано  
Светлело, как лучина в головах.

Где я два дня Вергилия читал,  
И пас быков, и птичье слушал пенье,  
И узнавал счастливое уменье  
Лесную тишину читать с листа.  
Где я забыл, что значит пустота.

Где я обрел и вынянчил терпенье  
Для зоркости, для доли, для судьбы  
Страдать и петь с тростинкой у губы,  
Которой вкус труда и смерти равно впору,  
Где я слова по-новому чертил,  
А монастырь густел, венчая гору,  
И серп луны меж избами всходил.

\* \* \*

В чужих корнях ищи истоки  
Своих движений и словес:  
Тебя питающие соки  
Есть смешанный и поздний лес.

И пусть дано не помнить право —  
Мы вечно памятью слабы —  
Но слаще всех других — отравы  
Смешенья крови и судьбы.

На ней настояно вино  
Уже прочитанных столетий,  
И скорбь старинную соседей  
Мне видеть с нежностью дано.

Тоска безмерного пространства  
Не отуманит головы.  
Мне любо чуткое славянство  
Поляков, чехов и Литвы.

\* \* \*

*Намедни был в Царском...*

А. С. П.

Опять во сне то Пушкин, то Литва.  
Я здесь о городке, не о поэте,  
Давно плывущем в мутной речке Лете.  
Как справедливо говорит молва,  
Книг нынче не читают. Интернет  
Сегодня и прозаик, и поэт.

В который раз — то Пушкин, то Литва...  
Там — детство, юность, там — воспоминанья  
О сбывшейся любви, ее признанья,  
С трудом произносимые слова  
«Люблю тебя...», а дальше... Дальше дым.  
Легко ли в шестьдесят стать молодым.

А я опять то в Царском, то в Литве.  
Знакомых улиц узнаю приметы:  
Мицкявичюса — вынырнул из Леты  
На берег, не прижился, зная, в Москве.  
Как я в России. Петербург не плох,  
Но бог чужой — чужой навеки бог.

Так почему ж то Царским, то Литвой  
Полна душа, и вздох невольный выдаст  
То ветхий дом на тесноватой Ригос,



А то Большой Каприз\* над головой.  
В пространстве сна немало кутерьмы,  
Вот почему в нем пропадаем мы.

И все ж я брежу Царским и Литвой  
Тех баснословных лет, когда телеги  
В Софии\*\* и на улице Сапеги  
Ходили регулярно, как конвой,  
А на стене Лицея — высоко  
Сушились в окнах женские трико,

Изяществом сразившие Париж  
С подачи злоехидного Монтана.  
Меж тем, мальчишки, зреющие рано,  
На их владелиц с царскосельских крыш  
Глазели жадно в окна бань, пока  
Их не сгоняла взрослая рука.

Шестнадцать лет, как я живу в краю,  
Где вместо зим шарафы и хамсины\*\*\*.  
Другая жизнь, но прошлого картины  
По-прежнему смотреть не устаю.  
Литва и Пушкин, Пушкин и Литва  
В моем сознание близкие слова

Настолько, что их образ неделим  
На гулком сна и памяти просторе.  
Как две реки, впадающие в море,  
Они впадают в Иерусалим,  
Где я их жду на низком берегу  
И от суровой Леты берегу.

\* Мостик в Екатерининском парке Царского Села.

\*\* Район Царского Села.

\*\*\* Пыльные бури.

---

**Владимир Ханан** — поэт, прозаик, драматург. Видный представитель петербургского андеграунда. Автор книг «Однодневный гость», «Неопределенный артикль» «Возвращение» и других. Член Союза писателей Израиля и Международной федерации русских писателей. Живет в Иерусалиме (Израиль).

## РИЖСКИЙ МИРАЖ

Нет ничего  
Не выйдет взять за шиворот судьбу  
И вытрясти хоть день  
Моль вылетит  
                                лови ее лови  
Сквозь дыры  
                                не разглядеть  
                                не то что завтрашний рассвет  
Но даже были прошлого

На город  
                                назло всем дамбам  
  наплывает море  
Но в мутной пене  
И море исчезает  
Побережья  
                                и города  
  в которых ты отмечен  
  недолгим пребыванием

Стирают  
                                с экранов  
А бумажным картам  
  давно нет веры  
Чем подтвердишь что ел горох  
с кефиром «У верблюда»  
За сорок лет повымерли  
Горох склевали птицы  
А улочку где приютилась память

Смело волной  
И на волну управа нашлась

Нет города у моря и моря нет  
Есть только память  
    о дюнах  
        о прохладном ветре  
            о маленькой квартире  
                вся в цветах и книгах

Но кто теперь читает  
Да еще январский дождь  
Не сорок лет а сорок дней прошло  
Полупустой автобус из прошлого уходит  
А куда  
Не знает даже моль  
Что вылетает из рукава судьбы  
Нет ничего

\* \* \*

Осень рифмуется с проседью,  
весна — со словом *красна*.  
С листьями ветром уносится  
Печаль о ночах без сна.

Зря молодецки топорщатся  
Рыжие кудри дубов.  
От холода морды морщатся  
И у матерых котов.

Вспышки последнего золота  
Ранят осенний парк.  
Меж наковальней и молотом  
Чувства влюбленных пар.

Одним — перемен не хочется,  
Другим — позарез подавай!  
О будущем похлопочут  
Ресницы вожатой трамвая.

И отмирающий транспорт  
Скрежещет своею дугой  
По проводу, будто аспид,  
Елозит по деве губой.

## **СПб**

Город, в котором улицы  
Чередуют чугун и камень,  
А в мороз расстегнуты пуговицы,  
Даже у сынков маменькиных,

Где голуби крылья полощут  
в лужах книжных витрин  
И узнают наощупь  
Подростки глаза Марин.

Здесь вчетверо больше осени  
Весны совокупно с летом,  
И походя перебросили  
Титаны мосты через реку.

Оно, шириною в небо,  
Качает ряды дворов.  
Революциями беременно,  
Множит число творцов.

На стенах номера телефонные  
Из болот блокадные нелюди,  
Львы и сфинксы с грифонами  
Не пускают волков с медведями.

Негой исполнены статуи.  
В Летнем саду и в прудах  
Лебеди шеи спрятали  
В крыльях, как в облаках.

## **Италия**

В Италии я делаюсь, как Буратино,  
Только что из полена смастерен  
Готов продать бумажную курточку, но —  
Покупателями обматерен.

И хочется вроде в поля чудес,  
И наплевать на жуликов,  
Но тянет, как по воле небес,  
К нарисованному очагу.

И я уверен — все дело в нем,  
Так здорово нарисованном.  
А не в дверце этой с тяжелым ключом,  
Забытым и как будто ворованным.

За дверью той ведь, скорее всего,  
Еще одна — тяжелее первой, —  
А за той еще, и так до восьмой,  
Загадочной, как Вселенная.

Каждую надо забить холстом  
И очаги нарисовать сытные,  
Чтоб всякие Буратины, типа меня,  
Обламывали о них носы.

\* \* \*

важнее нет, чем любви материя,  
а мужчина и гражданин российский,  
должен в политике соотносить и  
философских течениях...  
писать, к примеру, о проявлениях расистских...  
Ну не о замирании же сердца при виде сисек!  
О котором лучшие изломаны перья.  
Но влечет эта тайна сердцебиения  
И опыты охота оставить бесчисленные  
на себе и особах, способных к пению  
Вместе с движеньями  
монотонно-бессмысленными  
как это связано с движением сумерек  
На торговлю вином в Шувалово?  
Или с торможением на полном ходу  
в музее у закатных полотен Руо?  
Может, это разделение на мужчин

и женщин по неизвестному признаку  
устроено для исследования причин  
появления в морях кораблей-призраков.  
Все как-то связано: седьмое с восьмым  
Или аргумент с примером  
И раз я снимаю с тебя трусы —  
Значит, так надо — не трусь! — почти наверное!  
Без любви я приобретаю кабаньей вид  
Свиной щетинкой можно зазубривать сабли  
И если поручит мне, к примеру, МИД —  
Пожалуйста, смогу раскладывать на тропинках грабли  
Шпионам и разным врагам отечества  
В расчете, что хоть среди них окажется та,  
Единственная из всего человечества  
Неосуществленная блондинистая мечта.  
Получит граблями в лоб и крикнет: «Твоя я, кабан,  
Потому что нравишься мне всех пуще!»  
А я расцелую и вручу наган —  
фазанов расстреливать в райских куцах.

\* \* \*

Последний луч по стене ползет  
полотна медвежьими ощерились мордами  
Художнику с радио Полина рвет  
Нервы рахманиновскими аккордами

Пахнет керосином и лаком ногтей  
окурки в помаде изломанные гибельно  
правильней было б избегать страстей  
мешающих занятиям спокойным и прибыльным

блондинок забыть надо прежде всего  
и прочих тоже, и жить по норме  
чтоб, как верно учил капитан Жеглов,  
с оружием и бабами разбираться вовремя.

---

**Виктор Тихомиров** — художник, кинорежиссер, писатель. Участник легендарной петербургской группы «Митьки». Автор книги прозы «Золото на ветру». Член Союза художников России. Стихотворения Виктора Тихомирова публикуются впервые.

**БЛОНДИНКА  
В ДЮНАХ**

Блондинка в дюнах  
купальник узок  
очки от солнца  
бела оправка  
с ней рядом Август  
и слаще музык  
красотки дюнной  
ля-ля сопрано

Ее купальник  
в такой горошек  
трясется Август  
ему июль — март  
как будто с неба  
внезапно брошен  
на берег дюнный  
паланг и юрмал

А море вздрогнет  
лишь ветер дунет  
ее купальник  
взлетит как пара  
цветастых чаек  
легко наддюнно  
и где-то в море  
качнется парус



\* \* \*

литва литературва винный вильно  
где леса за поэтами не видно

всесырная приманка словоплета  
покинувшего вечные болота

как не остаться как не пасть в осадок  
когда язык литвы молочно сладок

когда потоком белым льются сказки  
из горнего гнезда семитоглазки

### **Кухня. Справа от входа. Утро**

Булочка с кокосовым кремом —  
это ли полноценный завтрак, Мария?  
что поделать, но утром субботы похмельный тремор  
не дает заняться толком кулинарией

Как болит голова, Мария, особенно справа, будто  
кто-то мнет височную долю, меняя русла извилин,  
в бутерброде моем кокосовый липкий бутер,  
в перспективе — Москва, а после, кажется, Вильно

Но до этого надо дожить, Мария,  
дожить до командировок,  
отпусков, юбилеев, праздников, фестивалей  
мне не плохо, Мария, мне просто очень хреново  
и болит голова, особенно справа...  
Vale!

---

*Дмитрий Легеца — поэт, автор книг «Башмачник», «Кошка на подоконнике» и других, член Союза писателей Санкт-Петербурга.*

**БАЛТИЙСКИЙ  
ПАЛИНДРОТРИПТИХ**

**Таллинн**

— Томас, а мот...  
— Ужели? — Лежу...  
Аки там Марго?  
— Рита? — сатирограмматика...  
— А Таллинн?  
— Нил лат! А,  
каково?  
— О, во как!

**Рига**

...а Рига-Багира  
йе! гуляла (дал я луг ей...), —  
ас сама (масса  
во себе бесов...)  
или?.. Следом — ее тень.  
И — нет ее. Модель сил и...  
кармы мрак.

## **Вильнюс**

— Е! город Вильнюс юн ли в дороге?..  
— Дорогоюн (ню-огород),  
но — стих, хит-с он!

---

*Арсен Мирзаев — поэт, автор 14 поэтических книг, лауреат Московских фестивалей свободного стиха (1991 и 1993), Международной Отметины имени Д. Бурлюка (2006) и премии «Avantart Partii» (2006). Стихотворения переводились на английский, французский, итальянский, финский, польский, чешский и чувашский языки. Член Союза писателей Санкт-Петербурга.*

**«К ВЕСЕЛОЙ ВЫШИНЕ...»**

**«Письмена». Поэтический альманах.**

*Рига. Оргкомитет Дней русской культуры. 2012*

В прошлом году в Риге увидел свет поэтический альманах «Письмена». Выпущенный Оргкомитетом фестиваля «Дни русской культуры в Латвии» альманах объединил под одной обложкой 70 русскоязычных поэтов из девяти стран, что является своеобразным рекордом. Предыдущая попытка провести серьезный «смотр» поэтических сил Латвии предпринималась более десяти лет назад, еще в двадцатом веке, но столь широкой авторской панорамы тогда представить не получилось. А главное, такого количества гостей не было, что очень существенно.

Дело ведь не в количестве представленных авторов, не за этим гнались составители. Альманах «Письмена» — книга объединяющая, что в нынешнее время крайне важно. Кажется, прошли (или, как минимум, проходят) времена разделения, нетерпимости, припоминания счетов, и отдельные части распавшейся империи опять начинают налаживать диалог. И пусть экономика с политикой плетутся в этом процессе в хвосте, зато впереди шагает культура и прежде всего язык. Именно русский язык является тем универсальным клеем, который может соединить, слепить в единое целое наш разорванный на части культурный космос. Мы все очень разные, и по судьбе, и по месту проживания, но язык делает нас единым этносом.

А что является высшей формой организации языка? Правильно: поэзия. Вот почему именно поэзия вошла в альманах, отставив в сторону (на время, надеемся) более тяжеловесные жанры — прозу, критику, публицистику. Поэзия, опять же, ведет разговор от имени души, а не ума, подчас лукавого; а в нынешнее время мы более всего нуждаемся как раз таки в сокровенном душевном разговоре.

Если говорить о структуре альманаха, то большинство представленных авторов, как мы видим, из Латвии. Что абсолютно справедливо, поскольку традиционный фестиваль «Дни русской культуры в Латвии» проводится в Риге и рижане же составили и издали альманах «Письмена». Поэты Латвии, как понимаешь после прочтения альманаха, различаются и по возрасту, и по литературному опыту, и по своему поэтическому языку. Составители постарались сделать единообразным разве что уровень публикаций, и в большинстве случаев эта задача была выполнена.

Перечислить всю тематическую палитру представленных авторов невозможно, во всяком случае в рамках статьи. Скажем только, что палитра очень широкая и богатая — от лирики, порожденной впечатлениями от окружающей природы, до философских, что называется, вечных тем. «Ах, как много ежевики / на зеленой оторочке / солнца точечные блики / в каждой, каждой черной точке» — пишет Вера Панченко, и нам ее лирическое переживание понятно. Но нам понятно и другое — то, что пытается нащупать в стихотворении под названием «На мотив псалма» Николай Гуданец:

Бездна бездну напрасно зовет, и над ней  
Безответно ревет водопад.  
Я оставлен Тобой. Я один и на дне.  
Чередую порожних бессмысленных дней  
Надо мной Твои воды шумят.

Поэтическая манера собранных под одной обложкой авторов тоже очень разная. Традиционный силлабо-тонический стих Сергея Пичугина спокойно соседствует со свободным стихом Павла Васкана, а рифмованные катрены Евгения Голубева без всякого конфликта сочетаются с нерифмованными строками

Алексея Герасимова. Какая разница, начинает автор строчку с прописной буквы или со строчной? Употребляет он знаки препинания или предпочитает обходиться без них?

за сосну зацепилась луна  
крик совы — колесом — с холма  
на луга полегла пелена  
спят и тюрьмы и терема

В этих строчках рижского поэта Юрия Касяничча не требуются ни знаки, ни большие буквы, и так понятно, о чем идет речь. Одно другому не мешает, поэзия вовсе не раба грамматики, рифмы или метра, она возникает из другой субстанции, которая отчетливо ощущается у большинства авторов альманаха.

А жанры? Преобладает, что естественно, обычный лирический стих, наиболее приемлемый в качестве высказывания для любого автора. Но встречаются и совсем короткие стихи, в три-четыре строчки, и поэмы, одна из которых — «Рыба фугу» Сергея Пичугина — заслуживает особого внимания. Необычная поэма, где сочетаются национальный японский колорит, ирония и вместе с тем философия, проблема жизни и смерти — грань между ними должен ощутить тот, кто рискнет попробовать удивительную (и опасную!) рыбу фугу.

Мы, как спасенные от зверя,  
Идем, своим глазам не веря,  
Едва нащупывая твердь.

Банзай! Мы победили робость!  
Нас отпустила рыба-глобус,  
Нас пощадила рыба-смерть!

Необычным, опять же, является серьезное присутствие на страницах поэтов — членов Ассоциации русских детских писателей Латвии. Детская литература в наше время не то чтобы не в чести — она существует наособицу, поэтому «серьезные» взрослые литераторы предпочитают от нее отмежевываться, не соседствовать с теми, кто пишет для детей. В «Письменах» такого размежевания не чувствуется, сюда включены стихи Регины Маскаевой, Ирины Гаевской,

Станислава Володько и многих других авторов, чья муза должна беречь души юных поколений, приучая их (а приучать нужно с младых ногтей!) к поэзии.

Усердно строчили сороки,  
Но не стихотворные строки,  
А дочкам своим и сыночкам  
Сороки строчили сорочки.

*Станислав Володько*

Честно говоря, составители вполне могли бы ограничиться выполнением более локальной задачи, а именно: тем самым «смотром» русскоязычных поэтических сил отдельно взятой прибалтийской страны. Почему нет? И выгода была бы, потому что каждый латвийский поэт получил бы несколько больше площади для публикации, чего каждому хочется. Однако составители, по счастью, пошли другим путем: они не стали жадничать и поделились страницами со своими друзьями и коллегами — поэтами из других стран.

География получилась замысловатая: от России и Литвы — что вполне объяснимо, до Израиля и Испании — что при желании тоже можно объяснить. На самом деле поэты живут не в этом бренном мире, а в невидимой стране под названием Поэзия, так что все они, по большому счету, соотечественники и земляки. А если учесть, что и язык у них один и тот же, то родство по крови обнаружится без труда:

Когда б не вы, когда б не вы,  
Мои любимые поэты,  
И с берегов родной Невы,  
И из далеких мест планеты...

Так пишет Зинаида Дырченко, ныне проживающая в испанском далеке, но помнящая всех, кто напитал ее душу божественным глаголом. Память культуры — самая крепкая память, как известно, «бог сохраняет все, особенно слова».

Кстати, о «поэтах с берегов Невы». Среди гостей альманаха представлена, конечно, и Москва, но представительство это небогатое. А вот питерские авторы присутствуют тут серьезно, можно сказать,

на страницах представлена небольшая панорама современной питерской поэзии. Эти авторы, опять же, весьма непохожи друг на друга: Галина Илюхина ни в чем не повторяет Екатерину Полянскую, а, к примеру, Дмитрий Легеза ничем не напоминает Евгения Лукина. И это замечательно, что авторы разные, все равно их объединяет талант и чуткость к поэтическому слову. Вот что пишет о поэтах и поэзии Галина Илюхина:

Гори оно, и синий — тоже свет.  
Невидимую руку дай мне, брат мой:  
нам все равно дороги нет обратной,  
поскольку никакой дороги нет.  
Нам — только вверх. К веселой вышине...

Авторы альманаха, где бы они ни проживали, движутся именно туда — «к веселой вышине».

**Владимир ШПАКОВ,**  
член Союза писателей Санкт-Петербурга,  
лауреат литературной премии имени Н.В. Гоголя



ББК84. Р7

С 28 \_\_\_\_\_

«Северная Аврора СВ(19)/2013»

М42 Литературно-художественный журнал

ИТД «Скифия», 2013. – 224 с.

ISBN 978-5-00025-007-5

Некоммерческое благотворительное издание

Издан ООО «ИТД «Скифия» по заказу  
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга

**Главный редактор и учредитель**

**Евгений Лукин**

Журнал зарегистрирован  
в Управлении Федеральной службы  
по надзору за соблюдением законодательства  
в сфере массовых коммуникаций  
и охране культурного наследия  
по Северо-Западному федеральному округу

**Свидетельство о регистрации СМИ**

**ПИ № ФС 2 – 8848 от 22.10.2007**

Адрес редакции:

191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 1, оф. 12

Контактный телефон: +7-911-771-63-73

E-mail: [lukin.evgeny@yandex.ru](mailto:lukin.evgeny@yandex.ru)

[www.avroga-lukin.ru](http://www.avroga-lukin.ru)

*На обложке журнала представлены картины петербургского художника  
Виктора Тихомирова. Кроме того, на страницах журнала этот участник  
легендарной группы «Митьки» впервые выступает как поэт.*

Издательско-Торговый Дом «Скифия»

191180, Санкт-Петербург, Гороховая ул., д. 25

(812) 571-68-54

e-mail: [skifiabook@mail.ru](mailto:skifiabook@mail.ru)

[www.piterbooks.ru](http://www.piterbooks.ru)

Подписано к печати 06.05.2013 г. Формат 60 x 84/16.

Возрастная категория 0+; Бумага офсетная «светокопи». Печать офсетная.

Гарнитура «Таймс». Усл. печ. л. 15,5, тираж 600 экз. Заказ №

Отпечатано в ООО «Контраст»

192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 38, лит. А